

Аванта
Мир. Энциклопедия

К. В. КЕРАМ

БОГИ,
БИБЛИОТЕКА АВАНТЫ +
ГРОБНИЦЫ,
УЧЕНЫЕ



К. В. Керам

Боги, гробницы, ученые

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153382

К.В. Керам. Боги, гробницы, ученые: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель; Москва; 2009

ISBN 978-5-98986-296-2, 978-5-271-24064-5, 978-5-98986-307-5, 978-5-271-24361-5

Оригинал: "Götter, Gräber und Gelehrte"

Перевод:

А. С. Варшавский

Аннотация

Автору этой книги, впервые вышедшей в свет в 1949 г., удалось казалось бы, невозможное: увлекательно и в то же время достоверно ввести в мир археологической науки. От Европы через Ближний Восток вплоть до Центральной Америки К. В. Керам идет по следам великих исследователей и авантюристов. У читателя возникает ощущение, что он присутствует, когда Шлиман открывает Трою, Картер вскрывает легендарную гробницу Тутанхамона, Кольдевей откапывает Вавилон, а Томпсон ныряет за украшениями майя. Так, страница за страницей, потерянные миры раскрывают свои тайны.

Содержание

От автора	4
Автобиография	7
Книга Статуй[1]	9
Глава 1	10
Глава 2	15
Глава 3	20
Глава 4	28
Глава 5	39
Глава 6	45
Глава 7	50
Глава 8	54
Книга Пирамид[17]	62
Глава 9	63
Глава 10	73
Глава 11	81
Конец ознакомительного фрагмента.	87

К. В. Керам

Боги, гробницы, ученые

Патриотического искусства и патриотической науки не существует. Как все высокое и благородное, они принадлежат всему миру, и споспешествовать им может только свободное взаимодействие всех современников при постоянном учете того, что осталось нам от прошедшего.

И. В. Гете

Кто хочет правильно видеть свое время, тот должен наблюдать его издалека. С какого расстояния? Очень просто – так далеко, чтобы он не смог уже распознать нос Клеопатры.

Х. Ортега-и-Гассет

От автора

Читателю я советую начать эту книгу не с самой первой страницы. И делаю я это хотя бы потому, что знаю, как мало можно доверять самым убедительным заверениям автора в том, что он представит чрезвычайно интересный материал, особенно если этот материал назван археологическим романом, т. е. обещает романтическую историю о науке, изучающей древности, которую каждый считает одной из самых сухих и скучных наук.

Я советую в первую очередь познакомиться с «Книгой пирамид». Тогда я надеюсь, что даже самый недоверчивый читатель более благосклонно отнесется к нашей теме и решит выбросить за борт некую предвзятость. А затем вернуться к началу повествования. Наша книга написана без научных амбиций. Более того, мы только попытались представить конкретную науку таким образом, чтобы наглядно показать труд исследователей и ученых, прежде всего в их внутренней напряженности, драматической привязанности, человеческом долге. При этом не делалось исключений для отклонений от темы, особенно для личных реакций и возникновения связей с современностью. В результате получилась книга, которую ученый муж назовет «ненаучной».

У меня для этого есть только одно оправдание, заключающееся в том, что я именно этого и добивался. Ибо я обнаружил, что эта богатая наука, в деяниях которой сочетаются приключения и кропотливый кабинетный труд, романтический взлет и духовное самоограничение, где глубина всех времен и широта глобального охвата неудержимо движутся вперед, почил под грузом публикаций специалистов. Но как ни высока научная ценность этих публикаций, они писались отнюдь не для того, чтобы их «читали». И удивительно то, что до сего времени сделано всего лишь три или четыре попытки представить исследовательские походы в прошлое как увлекательное приключение; удивительно потому, что вряд ли найдется более увлекательное приключение, если приключением всегда считать смесь духа и действия.

Вопреки присущему каждому описанию методу, который владел здесь моим пером, я в высшей степени предан чистой археологической науке. Да и как могло бы быть иначе: эта книга – хвалебная песнь ее достижениям, ее проницательности, ее неутомимости; прежде всего хвала самим исследователям, которые в большинстве случаев из истинной скромности замалчивают то, что требует огласки, ибо это достойно подражания. Из такого обязательства вытекает и моя попытка избежать фальшивых расстановок и фальшивых акцентов. «Роман археологии» – это роман в барочном стиле, коль скоро в нем в старинном смысле расска-

зывается о романтических (отнюдь не противоречащих реальности) событиях и жизненных перипетиях.

В то же время он является реалистическим романом («Романом фактов»), и в данном случае это будет строжайшим образом означать следующее: все, о чем здесь рассказывается, не только привязано к фактам (разукрашенным затем фантазией автора), а безукоризненно составлено исключительно из фактов (к которым фантазия автора не присовокупляет даже самого безобидного орнамента, коль скоро этот орнамент не предлагается самой историей времен).

Однако я уверен, что ученый специалист, к которому попадет в руки эта книга, найдет в ней ошибки. Так, неодолимым утесом мне показалось поначалу написание имен собственных. Неоднократно пытался я сделать выбор из дюжины существующих написаний одних и тех же имен. Исходя из характера книги я решил, наконец, избрать наиболее употребительный вариант, отказавшись от научного принципа, который в некоторых случаях привел бы к полной неразберихе. Это решение далось мне еще легче, после того как мне попало замечание великого немецкого историка Эдуарда Мейера, который в своей «Истории древности» натолкнулся на ту же проблему и в конце концов сказал, обращаясь, правда, к ученому миру: «...я не нашел тут никакого другого выхода, решив действовать без каких-либо принципов». Перед таким решением, принятым историком высочайшего класса, сочинителю простого отчета дозвоительно склонить голову. Конечно, у меня наверняка проскочило несколько ошибок по существу – не думаю, что этого можно избежать, когда впервые делается попытка дать сжатый обзор такого огромного материала, охватывающего не менее четырех специальных наук. И тут я буду благодарен каждому компетентному читателю за его замечания. Но я чувствую себя обязанным не только перед наукой, но еще и перед литературой, точнее сказать основоположником жанра литературы, куда эта книга должна внести свой скромный вклад. По моему разумению, им является Поль де Крайф (Крюи), американский врач, который первым предпринял попытку представить развитие довольно специфической отрасли науки в такой подаче, что оно могло вызывать такое же волнение, какое в нашем столетии может вызвать разве что чтение детективных романов. В 1927 году де Крайф открыл, что развитие бактериологии, если его правильно увидеть и правильно систематизировать, содержит элементы романа. Далее он открыл, что даже самые запутанные научные проблемы могут быть изложены самым простым и понятным образом, если представить их как рабочие процессы, т. е. провести читателя тем же путем, который проделал сам ученый – от возникновения мысли до получения результата. И он выявил, что обходные пути, перекрестки и тупики, куда заманивают исследователя и его человеческая недостаточность, и отказ мозгов, и случайные препятствия и внешние воздействия, – все это пронизано той самой динамикой и драматизмом, которые способны вызвать таинственную напряженность. Так возникла его книга «Охотники за микробами», которой уже только благодаря своему названию можно присвоить жанр научно-художественной литературы.

После первого опыта Поля де Крайфа нет, пожалуй, ни одной области науки, куда ни обращался бы один или многие авторы, используя этот новый литературный метод. В порядке вещей, что этим занимались писатели, которые в научном смысле были дилетантами. Основанием для критики остается, по моему мнению, только следующее: в каком соотношении находятся в их книгах наука и литература, насколько преобладает «факт» или «роман». Мне представляется, что лучшие книги относятся к той категории, где их романтический элемент возникает из «порядка расположения» фактов, и тем самым факту всегда отдается предпочтение. Свою книгу я старался как можно больше приблизить к этой категории.

В заключение хочу выразить свою благодарность всем тем, кто помогал мне в работе. Немецкие профессора д-р Ойген фон Мерлин, д-р Карл Ратьенс и д-р Франц Термер оказали

любезность прочитать – каждый в своей области – мою рукопись. Проф. д-р Курт Эрдманн, проф. д-р Хартмут Шмекель и д-р Эдуард Мейер, исследователь трудов Шлимана, дали затем несколько важных замечаний. Все они помогли мне ценными указаниями, оказали всяческую поддержку, прежде всего в обеспечении необходимой литературой (за что я особенно благодарю проф. д-ра Вальтера Хагеманна, Мюнхен), и обратили мое внимание на некоторые ошибки, которые я успел исправить. Всем им я благодарен не только за помощь, но и за понимание, с которым эти деятели науки отнеслись к книге, которая целиком и полностью выпадает из рамок любой науки. Хочу не забыть также поблагодарить Эдду Ренкендорф и Эрвина Дункера за то, что они взяли на себя подчас весьма нелегкие переводческие работы.

Ноябрь 1949 г.

К. В. К.

Автобиография



Я родился в Берлине (20 января 1915 г.) и рос в бурное время хорошего театра и скверной политики, быстрого обогащения и безработицы. Я ненавидел школу и учителей. 18 лет от роду я поступил на работу в одно издательство и параллельно продолжал учиться. В том же году я опубликовал свои первые критические статьи о литературе и кино в «Берлинском биржевом курьере» (Berliner Bo"rsen-Courier). Год спустя я основал свой первый журнал и собственное издательство. И не так уж плохо – журнал достиг четырех номеров, а издательство выпустило одну публикацию. Затем я написал множество статей для газет и впервые выступил на радио – выступление тоже имело успех. Хороший старт завершился плачевным концом, когда в Германии была запрещена критика. Свою жажду впечатлений я утолял теперь в многочисленных поездках; сюда же добавилась еще небывалая жажда образования: один день – одна книга, таков был мой заданный самим себе урок. А для писательства я, чтобы избежать цензуры и зависимости от какой бы то ни было организации, избрал бегство в прошлое и скоро стал для издательства Ульштейн крупным специалистом по «курьезам культуры». Это заложило основы для моей все возрастающей страсти к «фактам», которые, если их правильно расположить на общечеловеческом фоне, могут привести к интереснейшим литературным конструкциям. Эти попытки стали толчком к написанию моей первой после войны книги.

Хотя я с первого дня был уверен в поражении Германии, мне не удалось остаться в стороне от жарких событий. Я побывал в Нарвике, в кольце под Сталинградом, был ранен под Кассино. Конец войны позволил мне вздохнуть полной грудью – неожиданный подарок интеллектуальной свободы приток сил. С 1945 по 1948 г. я одновременно был редактором

новой газеты «Вельт» в Гамбурге, главным редактором издательства Ровольт (до 1952 г.), обладателем лицензии и соиздателем молодежного журнала «Беньямин», сотрудником ночной программы Северогерманского радио (Норддойчер Рундфук), писал бесчисленное множество статей и полемических заметок для газет и журналов, а также предисловия и послесловия к издаваемым Ровольтом произведениям современных авторов.

Попутно меня не оставляла мучительная радость от собирания и систематизирования «фактов»; в качестве нового поля я открыл для себя историю раскопок, историю археологии. Случай свел меня с огромным количеством материала, который в Германии был сосредоточен в одном месте. За четыре с половиной года я «систематизировал», «сконструировал», сложил из мертвых кусков мозаики целую картину, драматический отчет (при этом написание его давалось мне чрезвычайно трудно): «Боги, гробницы и ученые», книга, которая была переведена на 26 языков и достигла в оригинальном виде в одной только Германии общего тиража почти два миллиона экземпляров.

По двум последующим книгам по истории археологии (альбом, где текст и иллюстрации были соединены по-новому, стал новым часто копируемым типом книги) и книге в жанре эссе с иллюстрациями, вышедшей под названием «Археология кино», я снял в качестве режиссера и автора шесть документальных фильмов для немецкого и американского телевидения под названием «По следам античности».

Потом я написал самую важную (для меня) свою книгу, нацеленную не в прошлое, а в будущее, – «Провокационные заметки» (английское название Yestermorrow с предисловием Алана Прайс-Джонса), сборник культурно-философских заметок на полях; странным образом эти «заметки» вызвали сильное интеллектуальное эхо не в Германии и не в Америке (для которых они специально предназначались), а во Франции и Испании, где они были немедленно переведены.

После работы в течение четырех с половиной лет вышла в свет сначала в США, а затем в 1972 г. в издательстве Ровольт в Рейнбеке под Гамбургом книга «Первый американец», которая через неделю после выхода из печати оказалась в списке бестселлеров. В 1952 г. я женился и приобрел себе участок в Альгау. В 1954 г. мы перебрались в Америку и жил и почти семнадцать лет в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в сельском доме, в окружении лесов и лугов. В 1971 г. мы вернулись в Германию. У меня есть сын. Тем самым я выполнил требования, которые предъявляет мужчине старинная поговорка: «Построй дом, посади дерево, роди сына и – напиши книгу».

Так высказался Курт В. Марек за несколько месяцев до своей смерти. Он скончался 12 апреля 1972 года в Гамбурге в возрасте 57 лет.

Книга Статуй¹

*Что за чудо вершится? Мы молили Тебя, о Земля,
Дать нам воды животворной, а что выдает нам
чрево
Твое?*

*И все это тоже живет там, в недрах? Живет,
погребенным под лавой,
Новый род? Иль то возвращаются к нам ушедшие
ранее?*

*Греки, римляне... Смотрите! Древние Помпеи
вновь встают перед нами,
Вновь отстраивается Геркулеса град!*

И.-К.-Ф. Шиллер



¹ Примечания к «Книге статуй» написаны К. С. Горбуновой.

Глава 1

Увертюра на классической почве

В 1738 году Мария Амалия Христина, дочь Августа III Саксонского, покинула дрезденский двор и вышла замуж за Карла Бурбонского, короля обеих Сицилий. Осматривая обширные залы неаполитанских дворцов и огромные дворцовые парки, живая и влюбленная в искусство королева обратила внимание на статуи и скульптуры, которые были найдены незадолго до последнего извержения Везувия: одни – случайно, другие – по инициативе некоего генерала д’Эльбефа. Красота статуй привела королеву в восторг, и она попросила своего венценосного супруга разыскать для нее новые.

С момента последнего сильного извержения Везувия 1737 года, во время которого склон горы обнажился, а часть вершины взлетела на воздух, вулкан вот уже полтора года молчал, спокойно возвышаясь под голубым небом Неаполя, и король согласился. Проще всего было начать раскопки там, где кончил д’Эльбеф. Король посоветовался с кавалером Рокко Хоаккино де Алькубиерре, испанцем по происхождению, который был начальником его технических отрядов, и тот предоставил рабочих, орудия и порох. Трудностей было много. Нужно было преодолеть пятнадцатиметровый слой твердой, как камень, лавы. Из колодца шахты, проложенной еще д’Эльбефом, прорубили ходы, а затем пробурили отверстия для взрывчатки. И вот наступил момент, когда заступ наткнулся на металл, зазвучавший под его ударами, как колокол. Первой находкой были три обломка гигантских бронзовых коней. И только теперь было сделано самое разумное из того, что можно было сделать, и с чего, собственно, нужно было начинать: пригласили специалиста. Надзор за раскопками взял на себя маркиз дон Марчелло Венути – гуманист, хранитель королевской библиотеки. За первыми находками последовали другие: три мраморные статуи одетых в тоги римлян, расписные колонны и бронзовое туловище коня. К месту раскопок прибыли король с супругой. Маркиз, спустившись по веревке в раскоп, обнаружил лестницу, архитектура которой позволила ему прийти к определенному выводу о характере всей постройки; 11 декабря 1738 года подтвердилась правильность сделанного им заключения: в этот день была обнаружена надпись, из которой следовало, что некий Руфус выстроил на свои собственные средства театр – *Theatrum Herculaneense*.

Так началось открытие погребенного под землей города, ибо там, где был театр, должно было быть и Поселение. В свое время д’Эльбеф, сам того не подозревая – ведь перед ним в окаменевшей лаве было множество других ходов, – попал прямо на сцену театра, буквально заваленную статуями. В том, что такое количество статуй оказалось именно здесь, не было ничего удивительного: бурлящий поток лавы, сметающий все на своем пути, обрушил на просцениум заднюю стену театра, украшенную множеством скульптур. Так обрели здесь семнадцативековой покой эти каменные тела.

Надпись сообщила и имя города: Геркуланум.

Лава, огненно-жидкая масса, поток расплавленных минералов и горных пород, постепенно охлаждаясь, застывает и вновь превращается в камень. Под двадцатиметровой толщей такой застывшей лавы и лежал Геркуланум.

Во время извержения вулкана вместе с пеплом выбрасываются лапилли – небольшие куски пористой лавы – и шлак; они градом падают на землю, покрывая ее рыхлым слоем, который нетрудно удалить с помощью самых простейших орудий. Под слоем лапилли на значительно меньшей глубине, чем их собрат по несчастью Геркуланум, были погребены Помпеи.

Как это нередко бывает в истории, да, впрочем, и в жизни, наибольшие трудности приходятся на начало пути, а самый длинный путь частенько принимают за самый короткий.

После раскопок, предпринятых д'Эльбефом, прошло еще тридцать пять лет, прежде чем первый удар лопаты положил начало освобождению Помпеи.

Кавалер Алькубиерре, который по-прежнему возглавлял раскопки, был неудовлетворен своими находками, хотя они и позволили Карлу Бурбонскому организовать музей, равного которому не было на свете. И вот король и инженер пришли к единому решению: перенести раскопки в другое место, начав на этот раз не вслепую, а там, где, по словам ученых, лежали Помпеи, засыпанные, согласно античным источникам, в тот же день, что и город Геркулеса.

Дальнейшее напоминало игру, которую дети называют «огонь и вода», но с участием еще одного партнера – плута, который в тот момент, когда рука приближается к запрятанному предмету, кричит вместо «огонь» – «вода». В роли такого путаника выступали алчность, нетерпение, а порой и мстительность.

Раскопки начались 1 апреля 1748 года, и уже 6 апреля была найдена великолепная большая стенная роспись. 19 апреля наткнулись на первого мертвеца, вернее на скелет; он лежал вытянувшись, а из его рук, застывших в судорожной хватке, выкатилось несколько золотых и серебряных монет. Но вместо того, чтобы продолжать рыть дальше, систематизировав все найденное и сделав выводы, которые позволили бы сэкономить время при дальнейших работах, раскоп был засыпан – о том, что удалось наткнуться на центр Помпеи, никто даже не подозревал; были начаты новые раскопки в других местах.

Удивляться этому не приходится. Могло ли быть иначе? Ведь в основе интереса королевской четы к этим раскопкам лежал всего-навсего восторг образованных невежд, да, кстати говоря, у короля и с образованием дела обстояли далеко не блестяще. Алькубиерре интересовала лишь техника дела (Винкельман впоследствии гневно заметил, что Алькубиерре имел такое же отношение к древностям, «какое луна может иметь к ракам»), все же остальные участники раскопок были озабочены лишь одной тайной мыслью: не упустить счастливой возможности быстро разбогатеть – вдруг в один прекрасный день под заступом вновь заблестит золото или серебро? Заметим, что из 24 рабочих, занятых 6 апреля на раскопках, 12 были арестантами, а остальные получали нищенскую плату.

Раскопки привели к амфитеатру, но, поскольку здесь не нашли ни статуй, ни золота, ни украшений, перешли опять в другое место. Между тем терпение привело бы к цели. В районе Геркулесовых ворот наткнулись на виллу, которую совершенно неправомерно – теперь уже никто не помнит, как возникло это мнение, – стали считать домом Цицерона. Подобным взятым, как говорится, с потолка утверждениям еще не раз будет суждено сыграть свою роль в истории археологии, и, надо сказать, не всегда бесплодную.

Стены этой виллы были украшены великолепными фресками; их вырезали, с них сняли копии, но саму виллу сразу же засыпали. Более того! В течение четырех лет весь район близ Чивиты (бывшие Помпеи) оставался забытым; все внимание привлекли к себе более богатые раскопки в Геркулануме, в результате которых там был найден один из наиболее выдающихся памятников античности: вилла с библиотекой, которой пользовался философ Филодемос, известная ныне под названием «Вилла деи Папири». Наконец, в 1754 году вновь обратились к южной части Помпеи, где нашли остатки нескольких могил и развалины античной стены. С этого времени и вплоть до сегодняшнего дня в обоих городах почти непрерывно ведутся раскопки и на свет извлекается одно чудо за другим.

Лишь составив себе точное представление о характере катастрофы, жертвой которой стали эти два города, можно понять и в полной мере представить себе, какое воздействие оказало открытие этих городов на век предклассицизма.

В середине августа 79 года до н. э. появились первые признаки предстоящего извержения Везувия; впрочем, извержения бывали и раньше, однако в предобеденные часы 24 августа стало ясно, что на сей раз дело оборачивается настоящей катастрофой.

Со страшным грохотом, подобным сильному раскату грома, разверзлась вершина вулкана. К заоблачным высям поднялся столб дыма, напоминавший по своим очертаниям гигантский кедр. С неба, исчерченного молниями, с шумом и треском обрушился настоящий ливень из камней и пепла, затмивший солнце. Замертво падали на землю птицы, с воплем разбегались во все стороны люди, забивались в норы звери; но улицам неслись потоки воды, неизвестно откуда взявшейся – с неба или из недр земли. Катастрофа застала города в ранние часы обычного солнечного дня. Им суждено было погибнуть по-разному. Лавина грязи, образовавшейся из пепла, воды и лавы, залила Геркуланум, затопила его улицы и переулки. Поднимаясь, она достигала крыш, затекала в окна и двери, наполняя собой весь город, как вода губку, и в конце концов наглухо замуровала его вместе со всем, что не успело спастись в отчаянном бегстве.

Судьба Помпеи сложилась по-иному. Здесь не было потока грязи, единственным спасением от которого было, по-видимому, бегство; здесь все началось с вулканического пепла, который можно было легко стряхнуть. Однако вскоре стали падать лапилли, потом – куски пемзы, по несколько килограммов каждый. Вся опасность создавшейся ситуации становилась ясной лишь постепенно. И когда наконец люди поняли, что им угрожает, было уже слишком поздно. На город опустились серные пары; они заползали во все щели, проникали под повязки и платки, которыми люди прикрывали лица – дышать становилось все труднее... Пытаясь вырваться на волю, глотнуть свежего воздуха, горожане выбегали на улицу – здесь они попадали под град лапилли и в ужасе возвращались назад, но едва переступали порог дома, как на них обваливался потолок, погребая их под своими обломками. Некоторым удавалось отсрочить свою гибель: они забивались под лестничные клетки и в галереи, проводя там в предсмертном страхе последние полчаса своей жизни. Потом и туда проникали серные пары...

Сорок восемь часов спустя вновь засияло солнце, однако и Помпеи и Геркуланум к тому времени уже перестали существовать. В радиусе восемнадцати километров все было разрушено, поля покрылись лавой и пеплом. Пепел занесло даже в Африку, Сирию и Египет. Теперь над Везувием был виден только тонкий столб дыма, и снова голубело небо.

Можно себе представить, какое необычайно важное значение имел характер этого события для сегодняшнего дня, для науки, занимающейся изучением прошлого.

Прошло почти семнадцать столетий. Люди другой культуры, других обычаев, но связанные с теми, кто оказался жертвами катастрофы, кровными узами родства всего человечества, взялись за заступы и откопали то, что так долго покоилось под землей. Это можно сравнить только с чудом воскрешения.

Ушедшему с головой в свою науку и поэтому свободному от всякого пиетета исследователю подобная катастрофа может представиться удивительной «удачей». «Я затрудняюсь назвать какое-либо явление, которое было бы более интересным...» – простодушно говорит Гете о гибели Помпеи. И в самом деле, что может лучше, чем пепел, сохранить, нет, «законсервировать» – это будет точнее – для последующих поколений исследователей целый город в том виде, каким он был в своих трудовых буднях? Город умер не обычной смертью – он не успел отцвести и увянуть. словно по мановению волшебной палочки, застыл он в расцвете своих сил, и законы времени, законы жизни и смерти утратили свою власть над ним.

До того как начались раскопки, был известен только сам факт гибели двух городов во время извержения Везувия. Теперь это трагическое происшествие постепенно вырисовывалось все яснее и сообщения о нем античных писателей облекались в плоть и кровь. Все более зримым становился ужасающий размах этой катастрофы и ее внезапность: будничная жизнь была прервана настолько стремительно, что поросята остались в духовках, а хлеб в печах. Какую историю могли бы, например, поведать останки двух скелетов, на ногах которых еще сохранились рабские цепи? Что пережили эти люди – закованные, беспомощные,

в те часы, когда кругом все гибло? Какие муки должна была испытать эта собака, прежде чем околела? Ее нашли под потолком одной из комнат: прикованная цепью, она поднималась вместе с растущим слоем лапилли, проникавших в комнату сквозь окна и двери, до тех пор пока наконец не наткнулась на непреодолимую преграду – потолок, тявкнула в последний раз и задохнулась.

Под ударами заступа открывались картины гибели семей, ужасающие людские драмы; последнюю главу известного романа Бульвер-Литтона «Последние дни Помпеи» отнюдь нельзя назвать неправдоподобной. Некоторых матерей нашли с детьми на руках; пытались спасти детей, они укрывали их последним куском ткани, но так и погибли вместе. Некоторые мужчины и женщины успели схватить свои сокровища и добежать до ворот, однако здесь их настиг град лапилли, и они погибли, зажав в руках свои драгоценности и деньги. *Save Sanem* – «Остерегайся собаки» гласит надпись из мозаики перед дверью того дома, в котором Бульвер поселил своего Главка. На пороге этого дома погибли две девушки: они медлили с бегством, пытались собрать свои вещи, а потом бежать было уже поздно. У Геркулесовых ворот тела погибших лежали чуть ли не вповалку; груз домашнего скарба, который они тащили, оказался для них непосильным. В одной из комнат были найдены скелеты женщины и собаки. Внимательное исследование позволило восстановить разыгравшуюся здесь трагедию. В самом деле, почему скелет собаки сохранился полностью, а останки женщины были раскиданы по всей комнате? Кто мог их раскидать? Может быть, их растащила собака, в которой под влиянием голода проснулась волчья природа? Возможно, она отсрочила день своей гибели, напав на собственную хозяйку и разорвав ее на куски. Неподалеку, в другом доме, события рокового дня прервали поминки. Участники тризны возлежали вокруг стола; так их и нашли семнадцать столетий спустя – они оказались участниками собственных похорон.

В одном месте смерть настигла семерых детей, игравших, ничего не подозревая, в комнате. В другом – тридцать четыре человека и с ними козу, которая, очевидно, пыталась, отчаянно звеня своим колокольчиком, найти спасение в мнимой прочности людского жилища. Тому, кто слишком медлил с бегством, не могли помочь ни мужество, ни осмотрительность, ни сила. Был найден скелет человека поистине геркулесовского сложения; он также оказался не в силах защитить жену и четырнадцатилетнюю дочь, которые бежали впереди него; все трое так и остались лежать на дороге. Правда, в последнем усилии мужчина, очевидно, сделал еще одну попытку подняться, но, одурманенный ядовитыми парами, медленно опустился на землю, перевернулся на спину и застыл. Засыпавший его пепел как бы снял слепок с его тела; ученые залили в эту форму гипс и получили скульптурное изображение погибшего помпеянина.

Можно себе представить, какой шум, какой грохот раздавался в засыпанном доме, когда оставленный в нем или отставший от других человек вдруг обнаруживал, что через окна и двери выйти уже нельзя. Он пытался прорубить топором проход в стене, не найдя здесь пути к спасению, он принимался за вторую стену; когда же и из этой стены ему навстречу устремлялся поток, он, обессилев, опускался на пол. Дома, храм Изида, амфитеатр – все сохранилось в неприкосновенном виде. В канцеляриях лежали восковые таблички, в библиотеках – свитки папируса, в мастерских – инструменты, в банях – стригилы (скребки). На столах в гостиницах еще стояла посуда и лежали деньги, брошенные в спешке последними посетителями. На стенах харчевен сохранились любовные стишки; фрески, которые были, по словам Ветути, «прекраснее творений Рафаэля», украшали стены вилл.

Перед этим богатством открытий очутился теперь образованный человек XVIII столетия; как человек, родившийся после Ренессанса, он был подготовлен к восприятию всех красот античности, но как сын того века, в который уже угадывалась грядущая сила точных наук, он предпочитал эстетической созерцательности изучение фактов.

Объединить оба этих воззрения мог только человек, знающий и любящий античное искусство и в то же время владеющий методами научного исследования и научной критики. Когда в Помпеях раздали первые удары заступа, человек, для которого эта задача станет делом жизни, проживал вблизи Дрездена и занимал пост графского библиотекаря. Ему было тридцать лет, и он не совершил еще ничего значительного. Двадцать один год спустя не кто иной, как Готтхольд Эфраим Лессинг, получив известие о его смерти, писал: «За последнее время это уже второй писатель, которому я охотно подарил бы несколько лет моей жизни».



Древняя Греция

Глава 2

Винкельман, или рождение одной науки

Анжелика Кауфман написала в 1764 году в Риме портрет своего учителя – Винкельмана. Он сидит перед открытой книгой с пером в руке. У него огромные темные глаза и лоб мыслителя, большой нос, придающий ему здесь сходство с Бурбонами, мягкие, округлые очертания рта и подбородка. Он похож скорее на художника или артиста, чем на ученого. «Природа дала ему все, что необходимо мужчине, и все, что может его украсить», – сказал Гете. Он родился в 1717 году в Стендале в семье бедного башмачника. В детстве он излазил все окрестные курганы, и с его легкой руки поисками древних могил занялись все местные мальчишки. В 1743 году он стал помощником директора школы в Зеегаузене. «С величайшей тщательностью выполнял я обязанности учителя и заставлял ребятишек, головы которых были покрыты паршой, затверживать азбуку, сам же я в то время всей душой стремился к познанию красоты и восхищался гомеровскими метафорами». В 1748 году он стал библиотекарем у графа фон Бюнау и поселился близ Дрездена. Пруссию Фридриха II он покинул без всякого сожаления: он имел возможность убедиться в том, что это «деспотическая страна». Вспоминал он о ней с содроганием: «Во всяком случае, я чувствовал рабство больше, чем другие». Перемена местожительства определила его дальнейшую судьбу: он попал в круг выдающихся художников. Сыграло роль и то, что в Дрездене находилась самая большая в Германии коллекция древностей; это заставило его изменить свои прежние планы (он был одержим идеей отправиться в Египет). Первые же его работы, появившиеся в печати, получили отклик во всей Европе. Духовно независимый, отнюдь не догматик в своих религиозных воззрениях, он переходит в католичество, чтобы получить работу в Италии – для него Рим стоил мессы. В 1758 году он становится библиотекарем и хранителем коллекций кардинала Альбани, в 1763 году – верховным хранителем всех древностей Рима и его окрестностей, посещает Помпеи и Геркуланум. В 1768 году Винкельман был убит.



Иоганн Иоахим Винкельман (1717–1768)

Три произведения Винкельмана положили основание научному исследованию истории древности: «Донесения о раскопках в Геркулануме» («Sendschreiben»), его основной труд «История искусства древности» («Geschichte der Kunst der Altertums») и «Неизвестные античные памятники» («Monumenti antichi inediti»).

Мы уже говорили о том, что раскопки в Помпеях и Геркулануме велись без всякого плана, но еще большим злом, чем отсутствие плана, была та «таинственность», которой эти раскопки окружались по приказу эгоистичных властителей. Всем посторонним – будь то путешественники или ученые, т. е. всем людям, которые могли бы поведать о раскопках миру – доступ к ним был запрещен, и лишь некий книжный червь по имени Баярди получил от короля разрешение составить первый каталог находок. Он начал с предисловия, не дав себе труда даже осмотреть раскопки. Он писал, писал и, так и не приступив к основному труду, заполнил к 1752 году своими писаниями пять пухлых томов общим счетом в 2677 страниц! Завистливый и злобный, он сумел к тому же добиться распоряжения министра о запрещении публикации сообщения двух других авторов, которые, вместо того чтобы заниматься предисловиями, взяли, что называется, быка за рога и сразу перешли к делу.

Если же какому-либо исследователю и удавалось получить доступ к находкам и ознакомиться с ними, то полная неразработанность вопроса и отсутствие основополагающих данных вели к столь же далеким от истины теориям, как, например, теория Марторелли: ссылаясь на то, что при раскопках была найдена чернильница, Марторелли доказывал на 652 страницах своего двухтомного труда, что в древности были распространены не книги-свитки, а обычные в нашем понимании книги, хотя свитки папируса из библиотеки Филодемоса лежали перед его глазами. Только в 1757 году наконец появился первый фолиант о древностях, изданный Валеттой. Средства для издания – 12 000 дукатов – были предоставлены королем.

И вот в эту затхлую атмосферу зависти, интриг, учености пудренных париков попал Винкельман. Преодолевая неслыханные трудности – в нем заподозрили шпиона, – Винкельман все же добился разрешения посетить королевский музей, однако ему было строжайше запрещено зарисовывать находящиеся там скульптуры и статуи. Винкельман был разозлен этим запретом и, как оказалось, не был в своем озлоблении одинок. В августинском монастыре, где Винкельман остановился, он познакомился с патером Пьяджи, которого застал за весьма странным занятием.

В свое время, когда была найдена библиотека «Виллы деи Папири», всех привела в восхищение ее богатая коллекция старинных рукописей. Но стоило взять в руки тот или иной папирус, чтобы рассмотреть или прочитать его, как он тут же превращался в пыль.

Спасти папирусы пробовали самыми разными способами. Все попытки были тщетны. Но вот однажды невесть откуда появился патер с «почти такой же рамкой, какой пользуются для завивки волос при изготовлении париков»; он утверждал, что с помощью этого приспособления ему удастся развернуть свитки, не повредив их. Ему предоставили свободу действий. К тому времени, когда Винкельман очутился в келье патера, тот уже несколько лет занимался своей работой. Его успехам в развертывании папирусов сопутствовал его явный неуспех у короля и Алькубиерре, которые ничего не смыслили в этой работе и не понимали всей ее сложности. Все время, пока Винкельман сидел у него в келье, озлобленный монах честил всех и вся. С величайшей осторожностью, словно перебирая пух, он буквально по миллиметру прокручивал на своей машинке обуглившийся папирус, браня при этом короля за равнодушие, а чиновников и рабочих – за их неспособность к работе. Гордясь одержанной победой, он показывал Винкельману очередную спасенную им страницу из трактата Филодемаса о музыке, но вдруг снова вспоминал о нетерпеливых и завистливых невеждах и опять принимался браниться.

Винкельман слушал речи патера с большим сочувствием: ведь и ему все еще было запрещено посещать раскопки; как и прежде, он вынужден был довольствоваться посещениями музея, как и прежде, ему запрещалось снимать копии. Благодаря тому, что он подкупил смотрителей, ему удалось увидеть некоторые находки, но через некоторое время к ним добавились новые, имеющие немаловажное значение для общей оценки античной культуры. Эти фрески и скульптуры были несколько необычны по своему содержанию. Король, человек чрезвычайно ограниченный, был шокирован, когда ему показали скульптуру сатира, сжимающего в страстных объятиях козу. Он приказал немедленно отправить все подобного рода скульптуры в Рим и держать их там под замком. Так Винкельману и не удалось увидеть эти произведения.

И все-таки, несмотря на все трудности, он в 1762 году опубликовал первое донесение об открытиях в Геркулануме. Двумя годами позже он вновь посетил город и музей и опубликовал второе донесение. В обоих донесениях он ссыался на сведения, почерпнутые им из рассказов патера; и то и другое содержало резкую критику. Когда второе его донесение дошло во французском переводе до неаполитанского двора, там поднялась целая буря возмущения: этот немец, которому была оказана редкая милость – ведь ему позволили осмотреть музей, – отплатил за нее такой монетой! Разумеется, нападки Винкельмана были справедливы, а его гнев – не беспричинным. Впрочем, для нас это уже не имеет никакого значения. Основная ценность донесения заключалась в том, что в них впервые ясно и по-деловому были описаны начатые у подножия Везувия раскопки.

В это же время появился и другой, по существу главный, труд Винкельмана: «История искусства древности». В нем он выступил как классификатор античных памятников, число которых непрерывно росло. Не имея перед собой никакого образца для подражания, как он сам об этом с гордостью говорил, он изложил впервые историю развития античного искусства. Он создал свою систему, опираясь на скудные и отрывочные сведения, почерпнутые

им из трудов древних авторов, и с величайшей проницательностью истолковав все имевшиеся в его распоряжении новые данные; блестящее изложение, образные и яркие выводы произвели необыкновенное впечатление на весь образованный мир, всех охватило то горячее сочувствие античным идеалам и увлечение ими, которое породило век «классицизма».

Эта книга оказала решающее влияние на развитие археологии; она побуждала заниматься поисками прекрасного, где бы оно ни таилось, она указывала путь, давала ключ к открытию древних цивилизаций с помощью изучения памятников их культуры; она пробуждала надежду найти с помощью заступа еще что-либо, столь же неизвестное, удивительное и прекрасное, как погребенные под землей Помпеи.

Но только в своем труде «Неизвестные античные памятники», вышедшем в 1767 году, Винкельман дал в руки юной археологии в полном смысле научное оружие. Винкельман, который не имел перед собой образца для подражания, сам стал таким образцом. Изучив для определения и интерпретации памятников всю греческую мифологию и сумев использовать в своих обобщениях даже самые мелкие подробности, он освободил ранее существовавший метод от филологических пут и от опеки древних историков, свидетельства которых возводились до сих пор в канон.

Многие утверждения Винкельмана были неверными, многие его выводы – слишком поспешными. Созданная им картина древности страдала идеализацией: в Элладе жили не только «люди, равные богам». Его знание греческих произведений искусства, несмотря на обилие материала, было весьма ограниченным. Он увидел лишь копии, сделанные в римскую эпоху и отбеленные миллионами капель воды и миллиардами песчинок. Между тем мир древности вовсе не был столь строг и столь белоснежен. Он был пестрым, настолько пестрым, что, несмотря на все тому подтверждения, нам сегодня трудно это себе представить. Подлинная греческая пластика и скульптура были многоцветны. Так, мраморная статуя женщины из Афинского акрополя окрашена в красный, зеленый, голубой и желтый цвета. Нередко находили статуи не только с красными губами, но и со сделанными из драгоценных камней, сверкающими глазами и даже с искусственными ресницами, – что особенно непривычно для нас.

Непреодолимой заслугой Винкельмана является то, что он установил порядок там, где до него был только хаос, привнес знание туда, где до тех пор господствовали лишь догадки и легенды. Еще большей его заслугой является все то, что он сделал своим открытием античного мира для немецкой классики Шиллера и Гете; кроме того, Винкельман дал будущим исследователям оружие, с помощью которого они сумели впоследствии вырвать из тьмы времен другие, еще более древние цивилизации.

В 1768 году, возвращаясь в Италию из поездки на родину, Винкельман познакомился в одной из гостиниц Триеста с неким итальянцем, не подозревая, что перед ним неоднократно привлекавшийся к суду преступник. Мы можем лишь гадать, почему Винкельман искал общества этого экс-кока и даже ел вместе с ним в своей комнате. Винкельман был заметным клиентом в отеле. Он был богато одет, его манеры обличали в нем светского человека, при случае можно было увидеть, что у него есть и золотые монеты – память об аудиенции у Марии Терезии. Итальянец, откликнувшийся на мало подходившее ему имя Арканджело², запасся веревкой и ножом.

Вечером 8 июня 1768 года ученый решил написать еще пару страниц и, сняв верхнюю одежду, присел к письменному столу. В этот момент в комнату вошел итальянец. Он накинул Винкельману на шею петлю и в разыгравшейся вслед за этим короткой схватке нанес ученому шесть тяжелых ножевых ранений. Смертельно раненный Винкельман, человек очень крепкого телосложения, нашел в себе силы спуститься по лестнице вниз. Появление его,

² «Арканджело» значит по-итальянски «архангел».

окровавленного и бледного, вызвало настоящий переполох среди кельнеров и горничных, а пока они пришли в себя, всякая помощь оказалась уже ненужной. Когда несколько часов спустя Винкельман скончался, на его письменном столе нашли листок бумаги с последними написанными его рукой словами: «Следует...».

Он не успел закончить свою мысль: убийца выбил перо из рук великого ученого, основателя новой науки. Но труд Винкельмана не остался бесплодным. Во всем мире живут его ученики. Со дня его гибели минуло уже чуть ли не два столетия, но по-прежнему в Риме и Афинах, во всех ныне существующих крупных центрах археологической науки ежегодно 9 декабря археологи отмечают День Винкельмана – день рождения великого ученого.

Глава 3

Следопыты истории

Если мы откроем сегодня какую-нибудь книгу, посвященную античному искусству, нас, если мы над этим задумаемся, должно поразить одно обстоятельство: без затруднения авторы в подписях к рисункам сообщают совершенно точные сведения о том, каким событиям они посвящены, кто на них изображен. Вот эта голова, найденная одним крестьянином из Кампаньи, – голова Августа, а вот та конная статуя – статуя Марка Аврелия, а это банкир Люций Цецилий Юкунда; или, еще точнее, – это Апполон Сауроктон, изваянный Праксительем, это амазонка Поликлета; а вот эта роспись вазы Дуриса изображает Зевса, похищающего спящую девушку. Кто из нас задумывается над тем, откуда почерпнуты эти сведения, каким образом люди сумели разобраться в том, кому принадлежит та или иная скульптура, кого она изображает, тем более что чуть ли не все эти скульптуры безымянные?



Поющий любитель выпивки. Внутренняя сторона греческой чаши

Мы видим в музеях пожелтевшие от времени, полуистлевшие свитки папируса, черепки ваз, фрагменты рельефов, колонн, испещренных какими-то рисунками и знаками, иероглифами и клинописью. Мы знаем, есть люди, для которых разобраться в этих знаках, прочесть их так же просто, как для нас прочитать газету или книгу. Отдаем ли мы себе отчет в том, какой остротой ума нужно было обладать, чтобы суметь раскрыть тайну языков, которые были мертвыми уже в те времена, когда Северная Европа еще находилась на стадии варварства? Задумываемся ли мы над тем, что помогло нам проникнуть в тайну этих мертвых знаков?

Мы перелистываем труды современных историков: перед нами проходит история древних народов, следы культуры которых обнаруживаются еще и сегодня в тех или иных элементах языка, во многих наших обычаях и нравах, в наших произведениях искусства, несмотря на то, что жизнь этих народов протекала в далеких от нас землях и следы ее теряются во тьме веков. Мы читаем их историю и знаем, что это не легенда, не сказка – перед нами цифры, даты, имена правителей и королей; мы узнаем, как они жили в дни войны и в дни мира, какими были их дома, их храмы. Мы узнаем о периодах величия и падения государства с точностью до года, месяца и даже дня, хотя все события происходили задолго до нашей эры, когда нашего летосчисления не было еще и в помине, когда не родились еще наши календари. Откуда же все эти сведения, откуда эта точность и определенность хронологических таблиц?

Мы хотим рассказать о становлении науки археологии, представить ее в развитии, не утаив ничего. Большинство вопросов, которые мы только что задали, отпадут по мере изложения. Дабы не утомлять читателя повторениями, мы позволим себе, однако, уже сейчас сделать несколько общих, предварительных замечаний о методах археологии, рассказать о тех трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться.

Римский антиквар Аугусто Яндоло рассказывает в своих воспоминаниях о том, как ему еще мальчишкой довелось вместе с отцом присутствовать при вскрытии этрусского саркофага: «Нелегко было сдвинуть крышку; наконец она поднялась, стала вертикально и потом тяжело упала на другую сторону. И тогда произошло то, чего я никогда не забуду, что до самой смерти будет стоять у меня перед глазами: я увидел молодого воина в полном вооружении – в шлеме, с копьем, щитом и в поножах. Я подчеркиваю: не скелет воина, а самого воина. Казалось, смерть не коснулась его. Он лежал вытянувшись, и можно было подумать, что его только что положили в могилу. Это видение продолжалось какую-то долю секунды. Потом оно исчезло, словно развеянное ярким светом факелов. Шлем скатился направо, круглый щит вдавился в латы, покрывавшие грудь, поножи, лишившись опоры, оказались на земле. От соприкосновения с воздухом тело, столетиями лежавшее непотревоженным, неожиданно превратилось в прах, и только пылинки, казавшиеся в свете факелов золотистыми, еще плясали в воздухе».



На Кипре в VI в. до н. э. возникла эта глиняная скульптура высотой 1,02 м. Она реконструирована из нескольких фрагментов

Воин был представителем того загадочного народа, происхождение и родословная которого неизвестны и поныне. Один-единственный взгляд успели бросить на него, на его лицо исследователи, и он рассыпался, превратился в пыль. Почему? Виною тому была неосторожность исследователей.

Когда в странах классической древности еще задолго до открытия Помпеи стали находить в земле первые статуи (к тому времени люди были уже достаточно просвещенными, чтобы не только видеть в этих обнаженных фигурах языческих идолов, но и смутно догадываться об их эстетической ценности), когда эти статуи стали выставлять в эпоху Ренессанса во дворцах тиранов и кардиналов, их все-таки еще рассматривали всего лишь как курьезные раритеты, коллекционирование которых стало модой; порой в таких частных музеях какая-либо античная статуя мирно соседствовала с засушенным эмбрионом двухголового ребенка, а античный рельеф уживался рядом с чучелом птицы, которую якобы держал в руках святой Франциск, покровитель птиц.

Вплоть до девятнадцатого столетия ничто не мешало людям жадным и невежественным обогащаться за счет находок, а если это обещало доход, то и разрушать найденное.

В XVI веке на Forum Romanum – площади, на которой в древнем Риме происходили народные собрания (здесь вокруг Капитолия сгруппировались великолепнейшие постройки), – пылали печи для обжига извести, а в древних храмах были устроены каменоломни. Папы употребляли мраморные плиты для облицовки фонтанов в своих дворцах. С помощью пороха был взорван Серапеум; это сделали лишь для того, чтобы украсить

конюшню одного из Иннокентиев. Камни из терм Каракаллы превратились в ходкий товар. Более четырех веков подряд Колизей служил каменоломней. Еще в 1860 году папа Пий IX продолжил это разрушение, чтобы за счет языческого наследства раздобыть дешевый материал для христианской постройки. Там, где сохранившиеся памятники могли бы дать ценнейшие сведения, археологи XIX и XX веков находили лишь руины. Но там, где ничего подобного не было, где ничья злоумышленная рука не занималась разрушениями, ни один вор не искал запрятанных сокровищ и перед глазами археолога вставало никем не потревоженное прошлое (как это редко случалось!), там исследователя подстерегали другие трудности, связанные с определением и истолкованием находки.

В 1856 году неподалеку от Дюссельдорфа были найдены остатки скелета. Когда мы сегодня говорим об этой находке, мы называем ее останками неандертальского человека, но в те времена их приняли за останки животного, и только доктор Фульрот, преподаватель гимназии из Эльберфельде, сумел правильно определить принадлежность найденного скелета. Профессор Майер из Бонна считал его скелетом погибшего в 1814 году казака, Вагнер из Геттингенского университета думал, что это скелет древнего голландца, парижский ученый Прюнер-Бей утверждал, что это скелет древнего кельта, а знаменитый врач Вирхов, чьи слишком поспешные суждения не раз тормозили научную мысль, авторитетно заявил, что этот скелет принадлежит современному человеку, однако носит следы старческой деформации. Науке понадобилось ровно пятьдесят лет для того, чтобы установить: учитель гимназии из Эльберфельде был прав.

Правда, данный пример относится скорее к области первобытной истории и антропологии, чем к археологии, но можно вспомнить и другое, скажем, попытки определить, когда была изваяна знаменитая группа Лаокоона – одна из наиболее известных скульптур Древней Греции. Винкельман относил ее к эпохе Александра Македонского, минувший век видел в ней шедевр родосской художественной школы, относя группу примерно к 150 году до н. э., некоторые считали, что она изваяна во времена первых императоров. Мы же сегодня знаем, что авторами Лаокоона были родосские скульпторы Агесандр, Полидор и Атенодор, изваившие эту группу в пятидесятых годах первого столетия до н. э.



Лаокоон

Итак, давность и содержание изображения трудно определить даже тогда, когда тот или иной древний памятник сохранился в своем первоначальном виде. А как быть в тех случаях, когда возникают сомнения в аутентичности самого памятника?

Здесь к месту вспомнить о каверзной, чисто уленшпигелевской проделке, жертвой которой стал профессор Берингер из Вюрцбурга. В 1726 году он опубликовал книгу; ее название, написанное по латыни, не может здесь быть воспроизведено, ибо оно занимает целых полторы страницы. Речь в этой книге шла об окаменелостях, которые были найдены Берингером и его учениками неподалеку от Вюрцбурга. Берингер повествует о цветах, лягушке, о пауке, который окаменел вместе с пойманной им мухой, о табличках с еврейскими письменами и о других самых диковинных вещах. Автор не поскупился на рисунки: сделанные с натуры, великолепно переданные в гравюрах, они прекрасно дополняли текст, раскрывая и обогащая его. Книга была объемистой, содержательной, в ней было немало полемических выпадов против научных противников профессора; она имела успех, ее хвалили... до

тех пор, пока не выяснилась страшная истина: все было лишь проделкой школяров, которые решили позабавиться над своим профессором. Они сами изготовили все «окаменелости» и позаботились о том, чтобы они очутились именно там, где профессор занимался своими поисками.

Коль скоро мы вспомнили Берингера, не следует забывать и французского аббата Доменека. В Арсенальной библиотеке Парижа хранится великолепное издание его книги с 228 таблицами и факсимиле, вышедшей в свет в 1860 году под названием *Manuscript pictographique amercain*. Как выяснилось позднее, эти «индейские рисунки» были всего лишь черновыми эскизами из рисовальной тетради одного американского мальчика, немца по происхождению.

Могут возразить, что подобная история могла приключиться только с каким-нибудь Берингером или Доменekom. Ну, а великий Винкельман? Ведь он тоже стал жертвой мистификации со стороны художника Казановы (брата известного мемуариста), иллюстрировавшего его «Античные памятники». Казанова изготовил в Неаполе три картины; на одной из них были изображены Юпитер и Ганимед, а на двух остальных – танцовщицы³. Затем он послал их Винкельману, уверив его, что картины были сняты прямо со стен в Помпеях, а для пущей убедительности своих слов придумал совершенно невероятную романтическую историю о некоем офицере, который якобы тайком, по одной, выкрал эти картины. Смертельная опасность... темная ночь... тени гробниц... Казанова знал цену красочным деталям! И Винкельман попался на его удочку: он не только поверил в подлинность картин, он поверил всем рассказам Казановы. В пятой главе своей книги «Неизвестные античные памятники» он дал точное описание этих «находок», отметив, в частности, что Ганимед – это картина, «равной которой еще никому не приходилось видеть». В этом он был прав: если не считать Казановы, он действительно был первым из тех, кто ее увидел. «Любимец Юпитера, несомненно, принадлежит к числу самых ярких фигур, доставшихся нам от искусства античности. Я не знаю, с чем можно сравнить его лицо: оно буквально дышит сладострастием, кажется, для Ганимеда в поцелуях – вся жизнь».

Уж коль такой человек, как Винкельман, наделенный острейшим критическим чутьем, мог стать жертвой обмана, то кто может поручиться, что и с ним не произойдет что-либо подобное?

Искусство определения памятников, овладев которым исследователь уже не так легко поддается мистификации, метод, с помощью которого устанавливают по соответствующим признакам подлинность того или иного произведения, определяют его происхождение и историю, – все это составляет содержание науки, которая называется герменевтикой.

Книги, посвященные определению одних только известных классических находок, составляют целые библиотеки. Историю некоторых определений мы можем проследить, начиная с первой попытки интерпретации, принадлежащей еще Винкельману, и вплоть до дискуссий на те же темы, ведущихся современными учеными. Археологи – это следопыты. С проницательностью, присущей детективам, подбирают они камешек к камешку (и часто не только фигурально) до тех пор, пока постепенно не придут к логически напрашивающимся выводам. Легче ли им, чем криминалистам? Ведь они имеют дело с мертвыми предметами – с противником, не способным к сознательному противодействию, лишенным возможности запутывать следы, наводить на ложный путь. Это верно: мертвые камни не могут оказать сопротивления тем, кто их созерцает. Но сколько фальсификаций они таят! Сколько ошибок допустили те, кто опубликовал первые известия о той или иной находке! Ведь ни один

³ Автор ошибается: описываемая им ниже картина «Юпитер и Ганимед» была выполнена живописцем Рафаэлем Менгсом, а танцовщицы – действительно Дж. Казановой; см. Carl Robert, *Archaeologische Hermeneutik*, Берлин, 1919, с. 332, рис. 256.

археолог не в состоянии изучить в подлиннике все находки – они рассеяны по всей Европе, по музеям всего мира. Ныне, правда, фотография дает совершенно точное их изображение, но далеко не все еще сфотографировано; до сих пор еще приходится часто довольствоваться рисунками, субъективно раскрашенными, субъективно исполненными. Эти рисунки, зачастую сделанные людьми, ничего не смыслящими ни в мифологии, ни в античной истории, неточны, изобилуют ошибками.

На одном саркофаге, хранящемся ныне в Лувре, изображены Психея и Амур. У Амура отбита правая рука, но кисть руки сохранилась: она лежит на щеке Психеи. Эту кисть два французских археолога превратили на своем рисунке... в бороду. Подумать только, борода-тая Психея! Несмотря на явную нелепость этого рисунка, третий француз, издавший каталог Лувра, пишет: «Скульптор, создавший саркофаг, не разобрался в сюжете – он наделил Психею, одетую в женское платье, бородой!». А вот еще один случай, показывающий, как далеко можно уйти по ложному следу, настолько порой запутанному, что и нарочно не придумаешь. В Венеции есть один рельеф⁴ – серия сцен, изображающая двух мальчиков: впрягшись вместе быков в повозку, они везут женщину. Этот рельеф был дополнен и реставрирован примерно полтора-два столетия назад. Интерпретаторы того времени видели в нем иллюстрацию к одному из рассказов Геродота: он сообщает о некоей Кидиппе, жрице Геры, которую однажды за отсутствием быков привезли к храму ее собственные сыновья. Растроганная мать обратилась с мольбой к богам даровать ее сыновьям наивысшее блаженство, доступное смертным. И Гера по совету богов дала им возможность умереть во сне, ибо безмятежная смерть в ранней юности и есть наивысшее блаженство.

Основываясь на таком толковании, рельеф дополнили и реставрировали. Решетка у ног женщины превратилась в повозку на колесах, конец веревки в руке одного из мальчиков – в дышло. Орнаменты стали богаче, контуры более определенными, сам рельеф более глубоким. Так были созданы предпосылки для новых толкований. На основании произведенных дополнений рельеф был датирован, причем неверно; орнамент был принят за рисунки, храм объявлен усыпальницей – это тоже было неверно; рассказ Геродота приукрашен – и тоже неправомерно, ибо вся реставрация была совершенно ошибочной. Рельеф вовсе не был иллюстрацией к Геродоту. Геродот вообще никогда во времена античности не «иллюстрировали». Повозка – чистейшая выдумка реставратора, он зашел в этом так далеко, что даже снабдил ее колеса спицами, которые в таком орнаментированном виде вообще никогда не встречались в античных памятниках. Плодом воображения являются и ярмо, и ошейники у быков. Разве не свидетельствует данный пример о том, на какой ложный путь может завести неверное описание?

Мы упомянули Геродота – автора, чьи произведения и поныне служат неиссякаемым источником сведений о датах, о произведениях искусства и их авторах. Труды античных авторов, к какому бы времени они ни относились, – основа герменевтики, но как часто они вводят в заблуждение археологов! Ведь писатель говорит о высшей правде – что ему банальная действительность! Для него история, а тем более мифы, – лишь материал для творчества.

Человек, чуждый музам, может сказать: «Писатели лгут». Если поэтическая вольность в обращении с фактами – это ложь, то действительно древние авторы лгали не менее, чем современные. Немало труда приходится затратить археологу, чтобы выбраться сквозь чащу их свидетельств на верную дорогу. Так, например, чтобы установить, к какому времени относится статуя Зевса-олимпийца из золота и слоновой кости – знаменитое творение Фидия, необходимо знать, когда и где Фидий умер. Об этом мы находим у Эфора, Диодора, Плутарха и Филохора противоречивые и взаимоисключающие друг друга данные: он умер в темнице;

⁴ Речь идет о рельефе Археологического музея в Венеции; см. С. Robert, *Die Antiken Sarkophagen*, III, с. 531, № 438, табл. 142.

ему удалось из нее бежать; он был казнен в Элиде; он спокойно дожил там свой век... И только в сравнительно недавно найденном, опубликованном в Женеве папирусе мы находим сведения, подтверждающие сообщение Филохора.

Все это дает некоторое представление о тех кознях, которые поджидают археолога, когда он остается один на один с тем или иным памятником. В этом единоборстве он может рассчитывать только на заступ и собственную сообразительность.

Рассказать обо всех методах, применяемых в научной критике, о том, как делаются зарисовки и описания, о том, как помогают определению находок мифология, литература, эпиграфический материал, изучение монет и утвари, о комбинированных методах определения находок путем сравнения, изучения места находки, ее залегания и находок, сопутствующих ей, рассказать обо всем этом – означало бы выйти за пределы той темы, которой посвящена наша книга. К тому же это сказалось бы и на ее занимательности.

Любителям же головоломок мы предложили бы для развлечения на досуге один вопрос: что изображено на этом рисунке? Следует отметить, что археологи до сих пор еще не нашли на него ответа. В самом деле, что это за предмет? Он бронзовый и имеет форму пентагондодекаедра; посередине каждой его грани – круглое отверстие, но все эти отверстия различного диаметра. Внутри он полый. И данный экземпляр, и все остальные, подобные ему, были обнаружены в Северных Альпах, а обстоятельства находки свидетельствуют о том, что он римского происхождения.

Один из интерпретаторов считает, что это игрушка, другой доказывает, что это своего рода фишка, третий – что это шаблон для измерения цилиндрических тел, четвертый хочет видеть в нем подсвечник.

Что же это все-таки за предмет?

Глава 4

Сказка о бедном мальчике, который нашел сокровище⁵

Это начиналось так: маленький мальчик стоял около могилы на кладбище в своей родной деревушке, расположенной высоко в горах, на немецкой земле Мекленбург. В этой могиле был похоронен злодей Хенниг, по прозвищу Бранденкирль. Рассказывали, что он заживо сжег одного пастуха, а потом ударил его, уже обуглившегося, мертвого, ногой. Это не прошло Бранденкирлю даром: как говорили, каждый год его левая нога в шелковом чулке и башмаке вылезала из могилы. Мальчик стоял и ждал: нога не показывалась. Тогда он попросил отца раскопать могилу, чтобы узнать, куда она в этом году запропастилась. Недалеко от этого места был холм. Под ним была закопана золотая колыбель; так, во всяком случае, утверждали пономарь и няня. Как-то мальчик сказал своему отцу, промотавшему все свое состояние пастору: «У тебя нет денег? Почему бы нам не выкопать колыбель?».



Генрих Шлиман (1822–1890)

Отец рассказывал сыну сказки и легенды. Старый гуманист, он рассказывал о борьбе героев Гомера, о Парисе и Елене, об Ахилле и Гекторе, о могущественной Трое, сожженной и разрушенной. В 1829 году на рождественские праздники он подарил сыну иллюстрированную «Всемирную историю для детей» Эррера. Там была картинка: Эней, держа сына за руку и посадив старика отца на спину, покидает охваченный пламенем город. Мальчик смотрел на изображение, на крепкие стены, на огромные Скайские ворота. «Так выглядела Троя?» – спросил он. Отец утвердительно кивнул. «И все это разрушено, совершенно разрушено, и никто не знает, где стоял этот город?» – «Разумеется», – ответил отец.

«Я не верю этому, – сказал маленький Генрих Шлиман. – Когда я вырасту большой, я найду Трою и сокровища царя».

⁵ Глава 4 изложена по автобиографии Шлимана: «Heinrich Schliemann's Selbstbiographie», Лейпциг, 1892.

Отец рассмеялся.

Это не выдумка, это даже не окрашенные в сентиментальные тона воспоминания детства, которым нередко предаются в старости люди, добившиеся успеха в жизни. Задача, которую поставил перед собой семилетний мальчик, была проведена в жизнь. А в шестьдесят один год уже всемирно известный исследователь, очутившись случайно на родине, раскопал могилу злого Хеннига.

В предисловии к его книге об Итаке сказано:

«Когда я в 1832 году в десятилетнем возрасте преподнес отцу в качестве рождественского подарка изложение основных событий Троянской войны и приключений Одиссея и Агамемнона, я не предполагал, что тридцать шесть лет спустя, после того как мне посчастливится собственными глазами увидеть места, где разворачивались военные действия, и посетить отчизну героев, чьи имена благодаря Гомеру стали бессмертными, я предложу вниманию публики целый труд, посвященный этой теме».

«Первые впечатления ребенка остаются на всю жизнь». Но недолго было суждено этим впечатлениям питаться рассказами о классических деяниях. В четырнадцать лет Шлиману пришлось оставить школу и поступить учеником в лавку в маленьком городке Фюрстенберге. Долгие пять с половиной лет он продавал селедку и шнапс, молоко и соль, крошил картошку для перегонного куба и подметал лавку. И так с пяти часов утра до одиннадцати часов вечера.

Он забыл то, что учил, то, что слышал когда-то от отца. Но однажды в лавку ввалился подвыпивший рабочий, помощник мельника, уселся на прилавок и громовым голосом, с тем пафосом, который проявляют люди, чему-то учившиеся, к своим более бедным по духу собратьям, принялся декламировать стихи. Шлиман был как в чад, хотя и не понимал ни одного слова. Но когда он узнал, что это стихи из гомеровской «Илиады», он собрал все свои жалкие сбережения и стал покупать пьянице стаканчик водки каждый раз, как тот повторял свою декламацию.

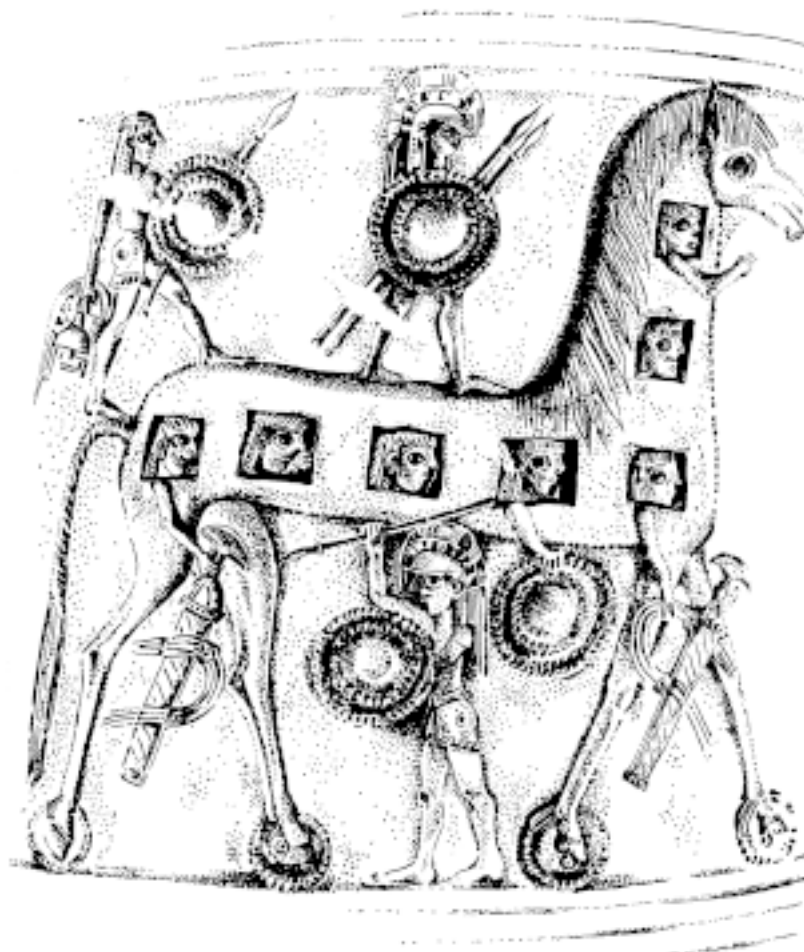
Дальнейшая его жизнь похожа на приключенческий роман. В 1841 году он отправился в Гамбург и завербовался юнгой на корабль, уходивший в Венесуэлу. Через четырнадцать дней корабль попал в жесточайший шторм и затонул возле острова Тексель, а Шлиман, который был гол как сокол, очутился в госпитале. По рекомендации друга семьи ему удается устроиться на службу в одну контору в Амстердаме. И если его вылазка на поприще географии оказалась неудачной, то на поприще духовной жизни ему повезло.

В жалкой нетопленной мансарде он приступает к изучению языков. Применяя совершенно необычный, им самим созданный метод, он за два с половиной года овладевает английским, французским, голландским, испанским, португальским и итальянским языками. «Эти напряженные и чрезмерные занятия настолько укрепили за год мою память, что изучение голландского, испанского, итальянского и португальского языков показалось мне очень легким: мне понадобилось не более шести недель, чтобы научиться свободно говорить и писать!»

Став корреспондентом и бухгалтером одной фирмы, которая имела торговые связи с Россией, он приступил в 1844 году, двадцати двух лет от роду, к изучению русского языка. Но никто во всем Амстердаме не владел этим труднейшим языком, и единственными учебными пособиями, которые ему удалось разыскать, были старая грамматика, словарь да плохой перевод «Похождений Телемака»⁶. С этим он и начал свои занятия. Он так громко декламировал выученного им наизусть «Телемака», а голос его так звонко раздавался в пустых стенах комнаты, что это вызывало недовольство соседей: дважды ему пришлось переезжать на новую квартиру. Наконец он решил, что ему будет полезен слушатель, и нанял за четыре

⁶ Вероятно, это была «Тилемахида» В. К. Тредиаковского.

франка в неделю одного бедняка еврея, который должен был терпеливо сидеть и слушать «Телемака», не понимая ни единого слова из того, что Шлиман ему декламировал. После шести недель напряженнейших занятий Шлиман бегло изъяснялся с русскими купцами, которые прибыли в Амстердам для закупок индиго, на их родном языке.



Изображение троянского коня на амфоре высотой 1,34 м из Микен, датируемой приблизительно 670 г. до н. э.

Его успехам в учебе сопутствовали успехи в делах. Бесспорно, ему везло. Следует, правда, отметить, что он принадлежал к числу людей, которые, как говорится, своего не упустят и умеют ковать железо, пока оно горячо. Сын бедняка пастора, ученик в лавке, служащий в конторе (но одновременно и знаток восьми языков), он стал торговцем, а затем в головокружительном взлете достиг должности королевского купца. В деньгах и богатстве он видел кратчайший путь к успеху. В 1846 году двадцатичетырехлетний Шлиман едет в качестве агента своей фирмы в Петербург. Годом позже он основывает собственный торговый дом. Все это отнимает у него немало времени и стоит немало труда. «Только в 1854 году мне удалось изучить шведский и польский языки». Он много ездил. В 1850 году он побывал в Северной Америке. Присоединение калифорнийского побережья к Соединенным Штатам давало ему право на американское гражданство⁷. Не миновала его, как и многих других, золотая лихорадка: он основал банк для операций с золотом. Его удостаивает приема президент. «В семь часов я отправился к президенту Соединенных Штатов; я сказал ему, что

⁷ 4 июня 1850 года Калифорния была включена как самостоятельный штат в состав Соединенных Штатов Америки, и каждый, кто в этот день находился на территории штата Калифорния, механически становился американским гражданином, если он сам не протестовал против этого.

желание увидеть эту великолепную страну и познакомиться с ее великими руководителями побудило меня предпринять эту далекую поездку из России и что я считаю своим первейшим долгом засвидетельствовать ему свое почтение. Он принял меня очень сердечно, представил жене и дочери. Я беседовал с ним полтора часа».

Однако вскоре Шлиман заболел малярией, к тому же он давно тяготился своей буйной клиентурой; все это снова привело его в Петербург. Да, в эти годы он был настоящим золотоискателем, во всяком случае, именно таким его описывает один из биографов (Людвиг). Но его письма, относящиеся к этому периоду, и обе автобиографии свидетельствуют в то же время о том, что и в эти годы, как, впрочем, и всегда, его не покидает юношеская мечта – посетить когда-нибудь те далекие места, где жили и совершали свои великие подвиги герои Гомера, заняться изучением и исследованием этих мест. Его увлечение настолько серьезно, что он, этот, наверное, самый способный к языкам человек своего времени, испытывает своеобразный страх перед греческим языком и не приступает к его изучению, так как боится, что оставит ради него свои дела раньше, чем сможет обеспечить себе необходимую базу для свободных занятий наукой. Только в 1856 году он взялся за изучение новогреческого языка и, верный своей привычке, овладел им все в те же шесть недель. В последующие три месяца он успешно справляется со всеми трудностями гомеровского гексаметра, что требует от него колоссальной траты сил. «Я штудирую Платона с таким расчетом, что, если бы в течение ближайших шести недель он смог бы получить от меня письмо, он должен был бы его понять».

В последующие годы он дважды чуть было не попал в те места, где жили герои Гомера. Только случайная болезнь помешала ему во время путешествия ко второму Нильскому порогу – через Палестину, Сирию и Грецию – съездить на остров Итаку (кстати говоря, во время этого путешествия он изучил латинский и арабский языки. Его дневники способен прочесть только полиглот: он всегда писал на языке той страны, в которой в это время находился).

В 1864 году он уже было совсем собрался посетить Троянскую равнину, но, изменив своему решению, отправился в двухлетнее путешествие вокруг света, плодом которого явилась его первая книга, написанная на французском языке.

К этому времени он уже был свободным человеком. Пасторский сынок из Мекленбурга обладал великолепным деловым чутьем и принадлежал к той же породе людей, что и американские *selfmademan*'ы. Вспоминая в одном из своих писем о том, как он использовал для своих торговых операций Крымскую войну 1853 года, как нажился во время гражданской войны в США и годом позже на торговле чаем, он сам говорит о себе как о человеке с «жестоким сердцем». Ему всегда чертовски везло. Во время Крымской войны он однажды отправил в Мемель большой груз. Случилось так, что на мемельских складах вспыхнул пожар. Все товары были уничтожены, за исключением груза, принадлежавшего Генриху Шлиману: по чистой случайности его разместили не в общем складском помещении, а в сарайчике, который находился несколько в стороне. Тогда он мог записать (какая гордость скрывается за этими словами!): «Небо чудесным образом благословило мои торговые дела, и к концу 1863 года я увидел себя владельцем такого состояния, о котором не отваживался мечтать в самых честолюбивых своих замыслах». И непосредственно после этих строк следует прелестная в своей непосредственности фраза – констатация поступка, казалось бы, абсолютно неподобающего, но для Генриха Шлимана совершенно закономерного. «В силу этого я отошел от торговли, – скромно замечает он, – решив целиком посвятить себя научным занятиям, которые всегда меня чрезвычайно привлекали».

В 1868 году он совершил через Пелопоннес и Трою поездку в Итаку. Предисловие к его книге «Итака» датировано 31 декабря 1868 года; подзаголовок книги – «Археологические изыскания Генриха Шлимана». Сохранилась его фотография петербургских времен:

перед нами представительный господин в тяжелой меховой шубе. Эту фотографию он подарил жене одного лесничего, которую знал еще маленькой девочкой. На обратной стороне гордая подпись: «Фотография Генриха Шлимана, ранее ученика у господина Гюкштедта в Фюрстенберге, ныне оптового купца первой гильдии, русского потомственного почетного гражданина, судьи в Санкт-Петербургском торговом суде и директора Императорского государственного банка в С.-Петербурге».

Разве не похоже на сказку то, что крупнейший коммерсант, которому сопутствует в делах необыкновенная удача, находясь на вершине своих успехов, внезапно бросает все, сжигает за собой все корабли лишь для того, чтобы пойти дорогой мечты своего детства? Что этот человек, опираясь только на поэмы Гомера – здесь начинается новая глава его удивительной жизни, – посмел послать вызов всему ученому миру и, открыто сделав Гомера своим знаменем, отвергнув все прежние труды филологов, с лопатой в руках отправился распутывать то, что до этого было запутано и перезапутано сотней трактатов?

Во времена Шлимана Гомера считали певцом давно исчезнувшего мира. Сомнения в реальном существовании Гомера переносились и на сообщаемые им сведения. Ученые того времени были далеки от смелых утверждений своих позднейших коллег, называвших Гомера первым военным корреспондентом. В достоверность его сведений о той борьбе, которая разыгралась за город Приама, верили ничуть не больше, чем в достоверность сведений, содержащихся в древних сказаниях о героях, а некоторые вообще относили их к области мифов.

Разве «Илиада» не начинается с того, что Аполлон посылает смертельную болезнь на ахейцев? Разве Зевс не вмешивается непосредственно в борьбу, точно так же как и «лилейнорукая Гера»? Разве не превращаются там боги в людей, подверженных ранениям, – ведь даже богиня Афродита почувствовала железо копья.

Мифы, сказки, легенды, полные божественного огня, – создание одного из величайших писателей, но всего лишь писателя. К этому следует добавить еще следующее: согласно «Илиаде», Греция того периода была страной высокой культуры. Между тем во времена, когда греки попали в поле зрения современной истории, они ничем особенно не выделялись среди других народов – ни роскошью дворцов, ни могуществом царей, ни большим флотом. Приписать содержащиеся в поэмах Гомера сведения фантазии писателя было, несомненно, гораздо проще, чем согласиться с тем, что за эпохой высокой цивилизации последовала эпоха упадка с его варварством, а затем новый подъем эллинской культуры. Но подобного рода взгляды не могли сбить с пути Шлимана: он жил в мире Гомера, и для него все, что сообщал Гомер, было подлинной реальностью – в этом он в свои сорок шесть лет недалеко ушел от того мальчика, который когда-то рассматривал рисунок, изображающий бегство Энея. Когда он перечитывал описание щита Агамемнона или те места, где во всех деталях описывались боевые колесницы, оружие, утварь, он нисколько не сомневался, что перед ним реально существовавший греческий мир.

Все эти герои – Ахилл и Патрокл, Гектор и Эней, все их деяния, их дружба, ненависть и любовь – все это лишь плод фантазии? Нет. Он верил в их существование и он знал: его веру разделяли великие историки древности Геродот и Фукидид, которые везде говорили о Троянской войне как об истинном происшествии, а о ее героях – как о реально существовавших людях.

С этой верой миллионер Генрих Шлиман и отправился на сорок шестом году жизни в свое путешествие в царство ахейцев. Можно себе представить, насколько возрос его энтузиазм, когда он узнал, что жену кузнеца – первого из жителей, с которым он познакомился на Итаке, – звали Пенелопа, а ее сыновей – Одиссей и Телемах?

Это звучит неправдоподобно, но тем не менее так было: вечером на деревенской площади сидел богатый чудаковатый иностранец и читал потомкам тех, кто умер три тысячи

лет назад, XXIII песню «Одиссеи»; при этом его охватило такое волнение, что он заплакал, а вместе с ним плакали местные жители – и мужчины и женщины.

Все, что произошло затем, похоже на чудо. Где и когда в истории один лишь энтузиазм приводил к успеху? Поговорка о том, что успех решают знания, в данном случае не вполне применима хотя бы потому, что утверждение, будто Шлиман уже в первые годы своей научной деятельности был знатоком в области археологии, по меньшей мере спорно. И все-таки удача сопутствовала ему, как никому.

В те времена большинство ученых считали, что Троя могла находиться, если она действительно когда-либо существовала, на том месте, где стояла теперь маленькая деревушка Бунарбаши, примечательная и по сегодняшний день лишь тем, что на крышах ее домов красуется чуть ли не по дюжине гнезд аистов. Здесь протекали два ручья – это обстоятельство и навело наиболее смелых археологов на мысль, что именно на этом месте и была расположена древняя Троя:

*До родников добежали, прекрасно струящихся. Два их
Бьет здесь ключа, образуя истоки пучинного Ксанфа.
Первый источник струится горячей водой. Постоянно
Паром густым он окутан, как будто бы дымом пожарным.*

*Что до второго, то даже и летом вода его схожа
Или ее льдом водяным, иль со снегом холодным, иль с градом...*

Так говорится в XXII песне «Илиады» Гомера.

Наняв за сорок пять пиастров проводника с неоседланной лошадью, Шлиман вскоре очутился в стране своих мальчишеских грез.

«Сознаюсь, я с трудом справился с охватившим меня волнением, когда увидел прямо перед собой огромную Троянскую равнину, какой она часто являлась мне в грезах и сновидениях».

Но уже с первого взгляда Шлиману стало ясно, что Троя не могла быть расположена здесь, в трех часах езды от моря: ведь герои Гомера по несколько раз в день сходили с кораблей в город. И потом, неужели город Приама со своими шестьюдесятью двумя зданиями, с циклопическими стендами и воротами, через которые в город был внесен деревянный конь хитроумного Одиссея, мог разместиться на этом холме?

Шлиман осмотрел источники и покачал головой. На площади всего лишь в пятьсот метров он насчитал не два, как об этом говорил Гомер, а тридцать четыре источника; более того, проводник еще принялся уверять его, что он обсчитался: их не тридцать четыре, а сорок, недаром эта местность называется «Кырк гез», то есть «сорок глаз». Но разве Гомер не говорил об одном теплом и одном холодном источнике? Шлиман, который так же свято верил каждому слову Гомера, как теологи прежних времен – Библии, вытащил термометр и измерил температуру во всех тридцати четырех источниках – она везде была одинаковой: семнадцать с половиной градусов.

Но и на этом он не успокоился. Он открыл «Илиаду» и перечитал то место, где Гомер рассказывает об ужасном сражении Ахилла и Гектора, о том, как Гектор бежал от «страшного воина», и они «трижды обошли вокруг Приамовой крепости», и «все боги взирали на это». Он решил проделать тот же путь. В одном месте он натолкнулся на такой крутой спуск, что ему пришлось его преодолевать чуть ли не на четвереньках. Сомнения его все возрастали. Разве мог Гомер – а его описания местности были для Шлимана равносильны топографической карте – заставить своих героев трижды «спускаться бегом» по такому спуску?

С часами в одной руке и томиком Гомера в другой Шлиман шагал по дороге между холмом, который должен был прикрывать Троя, и мысом, у которого должны были стоять корабли ахейцев. В точном соответствии с содержащимся в «Илиаде» описанием (II – VII песни) он восстановил весь *ход* сражения, разыгравшегося в первый день Троянской войны, и пришел к выводу, что, если бы Троя действительно находилась на месте Бунарбаши, ахейцы должны были бы за девять часов проделать путь по меньшей мере 84 километра.

Но окончательно убедило его в своей правоте полное отсутствие каких-либо руин: даже черепков нигде не было видно, тех самых черепков, о которых кто-то весьма метко заметил: «Судя по находкам археологов, древние народы только тем и занимались, что изготавливали вазы, а прежде чем погибнуть, они, проявляя низменные стороны своего характера, всегда их уничтожали, оставляя последующим поколениям лишь изуродованные осколки самых лучших своих творений».

«Микены и Тиринф, – писал Шлиман, – были разрушены 2335 лет назад (он писал это в 1868 году), и, несмотря на это, их руины находятся в таком состоянии, что, наверное, простоят еще 20 000 лет». Троя была разрушена всего на 722 года ранее; циклопические стены не могли исчезнуть бесследно, и тем не менее нигде не было видно ни малейших их следов. В то же время даже при поверхностном, беглом осмотре следы этих стен обнаруживались среди развалин Нового Илиона (ныне известного под названием Гиссарлык, что означает «крепость, дворец»), расположенного в двух с половиной часах езды к северу от Бунарбаши и всего лишь в часе езды от моря.



Изображение Александра Великого на греческой тетрадрахме

Шлиман дважды осмотрел вершину одного холма, представлявшую собой четырехугольное плоское плато, каждая сторона которого имела в длину 233 метра, и пришел к убеждению: под этим холмом лежит Троя.

Он стал наводить справки и выяснил, что является не единственным сторонником этой гипотезы, хотя разделяли ее немногие. Франк Кальверт – американский вице-консул, англичанин по происхождению, которому принадлежала часть холма Гиссарлык (там была его вилла), – произведя небольшие раскопки, пришел к тому же убеждению, что и Шлиман, но не сделал никаких окончательных выводов. Того же мнения придерживались шотландский ученый Мак-Ларен и немец Эккенбрехер, но к их голосам никто не прислушивался.

Ну а как обстояло здесь дело с источниками, о которых упоминал Гомер? Ведь именно они послужили основным доказательством известной нам уже теории, утверждающей, что Троя была расположена на месте Бунарбаши. Неуверенность в своей правоте, охватившая

Шлимана, когда выяснилось, что здесь в отличие от Бунарбаши, где он обнаружил сорок источников, нет вообще ни одного, длилась, однако, недолго. Ему на помощь пришли наблюдения Кальверта, который обратил внимание на то, что в вулканической почве Гиссарлыка за сравнительно небольшой период исчезло и появилось несколько горячих источников. Это случайное наблюдение помогло Шлиману отвести как несущественное то, что до сих пор казалось ученым столь важным. Наконец, то, что в Бунарбаши служило опровержением, здесь стало доказательством: бой Гектора и Ахилла вовсе не казался таким неправдоподобным, если он происходил здесь, где склоны холма были отлогими. Для того чтобы в пылу жестокой схватки трижды обойти вокруг стен Трои, им нужно было проделать путь всего лишь в пятнадцать километров. Учитывая ожесточенный характер поединка, Шлиман не находил это невероятным.

Таким образом, вновь решающую роль сыграли свидетельства античных авторов, а не теории современных Шлиману ученых. Разве Геродот не сообщал, что Ксеркс посетил Новый Илион, осмотрел руины «Пергама Приама»⁸ и принес в жертву илийской Минерве тысячу быков? То же самое, как об этом свидетельствует Ксенофонт, сделал полководец лакадемонян Миндар и, согласно Арриану, Александр Великий, который к тому же забрал из Трои оружие, приказав своей личной охране носить его во время сражений перед ним как талисман. Разве не сделал для Нового Илиона много и Цезарь, во-первых, из чувства восхищения перед Александром, а во-вторых, и потому, что он, как ему казалось, располагал достоверными сведениями о своем родстве с илийцами⁹.

И что же, все они лишь фантазировали? Или, быть может, от были сбиты с толку неверными сообщениями современников?

В конце той главы, где Шлиман приводит одно за другим все эти доказательства, он отбрасывает всю свою ученость и, словно очарованный развернувшимся перед его глазами пейзажем, восклицает, как, наверное, воскликнул бы в свои мальчишеские годы: «...Мне хочется добавить: когда попадаешь в долину Трои, первое, что бросается в глаза, – это красивый холм Гиссарлык, самой природой, кажется, предназначенный для того, чтобы на нем возвышался большой город со своею цитаделью. И в самом деле: если его как следует укрепить, этот пункт господствовал бы над всей Троянской равниной. Во всей округе нет ни одного пункта, который мог бы с ним сравниться... С холма Гиссарлык видна и Ида – гора, с вершины которой Зевс взирал на Трою».

Теперь он как одержимый принялся за работу. Всю свою неукротимую энергию этот человек, проделавший путь от ученика в лавке до миллионера, посвятил теперь осуществлению своей мечты; этому он без колебаний отдал и душу и состояние.

В 1869 году Шлиман женился на гречанке Софье Энгастроменос, прекрасной, как Елена; вскоре она, так же, как и он, с головой ушла в поиски страны Гомера – она делила с супругом и тягостный труд, и невзгоды. Раскопки начались в апреле 1870 года; в 1871 году Шлиман посвятил им два месяца, а в последующие за этим два года – по четыре с половиной месяца. В его распоряжении была примерно сотня рабочих. Он трудился, не зная ни сна ни отдыха, и ничто не могло задержать его в работе – ни коварная и опасная малярия, ни острая нехватка хорошей питьевой воды, ни несговорчивость рабочих, ни медлительность властей, ни неверие ученых всего мира, которые просто считали его дураком, ни многое другое, еще худшее.

В самой высокой части города стоял храм Афины, вокруг него Посейдон и Аполлон построили стену Пергама – так говорил Гомер. Следовательно, храм нужно было искать

⁸ Пергам Приама – крепость гомеровской Трои, а также храм и дворец царя Приама.

⁹ Новый Илион – город, на месте которого в более раннее время была расположена Троя. Троя же считалась родиной Энея, от которого Юлий Цезарь возводил свой род.

посредине холма; там же должна была находиться возведенная богами стена. Разрыв вершину холма, Шлиман обнаружил стену. Здесь он нашел оружие и домашнюю утварь, украшения и вазы – неоспоримое доказательство того, что на этом месте был богатый город. Но он нашел и кое-что другое, и тогда впервые имя Генриха Шлимана прогремело по всему свету: под развалинами Нового Илиона он обнаружил другие развалины, под этими – еще одни: холм походил на какую-то чудовищную луковицу, с которой нужно было снимать слой за слоем. Как можно было предположить, каждый из слоев относился к определенной эпохе. Жили и умирали целые народы, расцветали и гибли города, неистовствовал меч и бушевал огонь, одна цивилизация сменяла другую – и каждый раз на месте города мертвых вырастал город живых.

Каждый день раскопок приносил новую неожиданность. Шлиман предпринял свои раскопки для того, чтобы разыскать гомеровскую Трои, но за сравнительно небольшой период он и его помощники нашли не менее семи исчезнувших городов, а позднее еще два – девять окон в прошлое, о котором до того времени ничего не знали и даже не подозревали!

Но какой из этих девяти городов был Троей Гомера, городом героев, городом героической борьбы? Было ясно, что нижний слой относится к отдаленнейшим временам, что это самый древний слой, настолько древний, что людям той эпохи было еще неизвестно употребление металлов, а верхний слой, очевидно, самый молодой; здесь и должны были сохраниться остатки того Нового Илиона, в котором Ксеркс и Александр совершили свои жертвоприношения.

Шлиман продолжал свои раскопки. Во втором и третьем слоях снизу он обнаружил следы пожара, остатки гигантских валов и огромных ворот. Без колебаний он решил: эти валы опоясывали дворец Приама, эти ворота были Скайскими воротами.

Он открыл бесценные сокровища с точки зрения науки. Из всего того, что он отсылал на родину и передавал на отзыв специалистам, постепенно все яснее вырисовывалась картина жизни далекой эпохи во всех ее проявлениях, представало лицо целого народа.

Это был триумф Генриха Шлимана, но одновременно и триумф Гомера. То, что считалось сказками и мифами, то, что приписывалось фантазии поэта, на самом деле когда-то было действительностью – это было доказано. Волна воодушевления прокатилась по всему миру. Теперь Шлиман, который переворотил во время раскопок более 250 000 кубометров земли, почувствовал, что имеет право сделать передышку. Он уже начал задумываться о новых исследованиях. 15 июня 1873 года было ориентировочно назначено последним днем раскопок. И вот тогда-то, всего за сутки до этого срока, Шлиман нашел то, что увенчало всю его работу, то, что привело в восторг весь мир... Это событие было поистине драматическим. Даже сегодня о нем нельзя читать без волнения.

Дело было утром жаркого дня. Шлиман вместе со своей супругой наблюдал за обычным ходом раскопок, не слишком рассчитывая найти что-либо новое, но все же, как всегда, полный внимания. На глубине около 28 футов была обнаружена та самая стена, которую Шлиман принимал за стену, опоясывавшую дворец Приама. Внезапно взгляд Шлимана привлек какой-то предмет; он всмотрелся и пришел в такое возбуждение, что дальше действовал уже словно под влиянием какой-то потусторонней силы. Кто знает, что предприняли бы рабочие, если бы они увидели то, что увидел Шлиман? «Золото...» – прошептал он, схватив жену за руку. Она удивленно уставилась на него. «Быстро, – продолжал он, – отошли рабочих домой, сейчас же!» Но... – попробовала было возразить красавица гречанка. «Никаких но, – перебил он ее, – скажи им все, что хочешь, скажи, что у меня сегодня день рождения и я только что об этом вспомнил, пусть идут празднуют. Только быстрее, быстрее!...»

Рабочие удалились. «Принеси твою красную шаль!» – крикнул Шлиман и прыгнул в раскоп. Он работал ножом, словно одержимый, не обращая внимания на огромные каменные глыбы, грозно нависшие над его головой. «В величайшей спешке, напрягая все силы, рискуя

жизнью, ибо большая крепостная стена, которую я подкапывал, могла в любую минуту похоронить меня под собой, я с помощью большого ножа раскапывал клад. Вид всех этих предметов, каждый из которых обладал колоссальной ценностью, придавал мне смелость, и я не думал об опасности».

Матово поблескивала слоновая кость, звенело золото...

Жена Шлимана держала шаль, наполняя ее постепенно сокровищами необычайной ценности. Сокровища царя Приама! Золотой клад одного из самых могущественных царей седой древности, окропленный кровью и слезами: украшения, принадлежавшие людям, подобным богам, сокровища, пролежавшие три тысячи лет в земле и извлеченные из-под стен семи исчезнувших царств на свет нового дня! Шлиман ни минуты не сомневался в том, что он нашел именно этот клад. И лишь незадолго до его смерти было доказано, что в пылу увлечения он допустил ошибку, что Троя находилась вовсе не во втором и не в третьем слое снизу, а в шестом и что найденный Шлиманом клад принадлежал царю, жившему за тысячу лет до Приама¹⁰.

Таясь, словно воры, Шлиман и его жена осторожно перенесли сокровища в стоявшую неподалеку хижину. На грубый деревянный стол легла груда сокровищ: диадемы и застёжки, цепи и блюда, пуговицы, украшения, филигрань. «Можно предположить, что кто-либо из семьи Приама в спешке уложил сокровища в ларь, так и не успев вынуть из него ключ, и попытался их унести, но погиб на крепостной стене от руки врага или был настигнут пожаром. Брошенный им ларь был сразу же погребен под обломками стоявшей неподалеку дворцовой постройки и пеплом, образовавшими слой в пять-шесть футов»¹¹. И вот фантазер Шлиман берет пару серег, ожерелье и надевает эти старинные тысячелетние украшения двадцатилетней гречанке – своей красавице жене. «Елена...» – шепчет он.

Но как поступить с кладом? Шлиман не сможет сохранить находку в тайне, слухи о ней все равно просочатся. С помощью родственников жены он весьма авантюристическим образом переправляет сокровища в Афины, а оттуда на родину. И когда по требованию турецкого посла его дом опечатывают, чиновники не находят ничего – золота и след простыл.

Можно ли назвать его вором? Законодательство Турции допускает различные толкования вопроса о принадлежности античных находок, здесь царит произвол. Стоит ли удивляться тому, что человек, который ради осуществления своей мечты перевернул всю свою жизнь, попытался спасти для себя и тем самым для европейской науки золотой клад? Разве за семьдесят лет до этого Томас Брюс, лорд Эльджин и Конкардин не поступили так же? Афины в те времена еще принадлежали Турции. В фирмане, полученном лордом Эльджином, содержалась следующая фраза: «Никто не должен чинить ему препятствий, если он пожелает вывезти из Акрополя несколько каменных плит с надписями или фигурами». Эльджин очень широко истолковал эту фразу: он отправил в Лондон двести ящиков с архитектурными деталями Парфенона. В течение нескольких лет продолжались споры о праве собственности на эти великолепные памятники греческого искусства. 74 240 фунтов стоила лорду Эльджину его коллекция, а когда в 1816 году декретом парламента она была приобретена для Лондонского музея, ему заплатили 35 000 фунтов, что не составило и половины ее стоимости¹².

¹⁰ Исследованиями американского археолога Бледжена установлено, что в Троаде было 12 слоев. Гомеровская Троя, описываемая в «Илиаде», лежала в седьмом слое.

¹¹ Найденная Шлиманом груда сокровищ образовывала строгий четырехугольник, отсюда и возникло предположение о ларе. Кроме того, среди сокровищ был найден металлический стержень, который Шлиман принял за ключ от ларя.

¹² Эльджин был чрезвычайным послом Великобритании с 1799 года. В 1801 году Эльджин получил разрешение снимать слепки со скульптур Акрополя, а также производить раскопки и даже вывозить некоторые «камни с надписями или фигурами». Пользуясь этим разрешением, Эльджин снял фронтонные статуи, плиты фриза и даже одну из кариатид Эрехтейона, вывез все в Англию и затем продал эти памятники в Британский музей.

Найдя «Сокровища царя Приама», Шлиман почувствовал, что достиг вершины жизни. Можно ли было после такого успеха рассчитывать на что-нибудь большее?

Глава 5

Маска Агамемнона

В области археологии Шлиман достиг трех вершин. «Сокровища царя Приама», о которых мы рассказали в предыдущей главе, была первой; второй суждено было стать открытию царских погребений в Микенах. Одной из наиболее мрачных и одновременно одной из самых возвышенных, полной темных страстей глав истории Греции является история Пелопидов из Микен, история возвращения и гибели Агамемнона¹³.

Девять лет стоял Агамемнон перед Троей. Эгист использовал это время:

*Тою порою, как билися мы на полях Илионских,
Он в безопасном углу многоконного града Аргоса
Сердце жены Агамемнона лестью опутывал хитрой...*

Эгист поставил часового, который должен был предупредить его о возвращении супруга Клитемнестры, и окружил себя вооруженными людьми. Потом он пригласил Агамемнона на пир, но, «преступные козни замыслив», убил его, «подобно тому, как быков убивают за жвачкой». Не спасся и никто из друзей Агамемнона, никто из тех, кто пришел вместе с ним. Прошли долгие восемь лет, прежде чем Орест, сын Агамемнона, отомстил за отца, расправившись с Клитемнестрой, своей матерью, и Эгистом – убийцей.

Эти события вдохновляли многих авторов трагедий: Агамемнону посвящена самая выдающаяся трагедия Эсхила; французский писатель Жан-Поль Сартр написал драму об Оресте. Память о «царе среди мужей», одном из самых могущественных и богатых правителей, владыке Пелопоннеса, никогда не угасала.

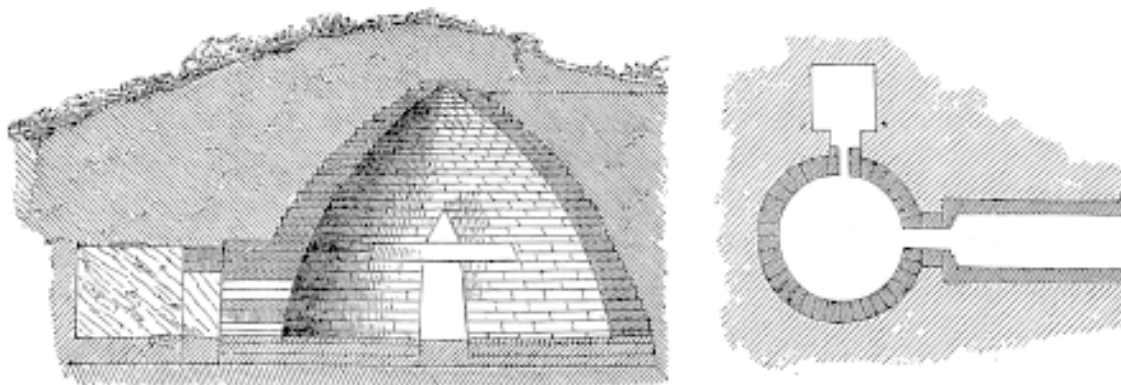
Но Микены были не только кровавыми. Троя, судя по описаниям Гомера, была очень богатым городом. Микены же были еще богаче: Гомер везде называет этот город «златообильным». Околдованный «Сокровищами царя Приама», Шлиман принялся за поиски нового клада и, кто бы мог себе это представить, нашел его!

Микены находятся на полпути между Аргосом и Коринфским перешейком. Если взглянуть на эту бывшую царскую резиденцию с запада, прежде всего бросаются в глаза сплошные развалины – это остатки огромных стен, позади которых вначале отлого, а затем все более круто вздымается Эвбея с часовней пророка Ильи.

Примерно около 170 года здесь побывал Павсаний. Он описал все, что ему довелось увидеть; это было безусловно больше того, что смог увидеть Шлиман. Но в одном задача археолога отличалась здесь от той, которую приходилось решать в Трое: Микены не нужно было искать, их месторасположение было видно совершенно отчетливо. Правда, развалины были покрыты пылью тысячелетий, и там, где некогда ступали цари, ныне мирно паслись овцы, но эти развалины, эти руины, немые свидетели былого могущества, роскоши и великолепия, все-таки существовали. Главный вход во дворец, так называемые Львиные ворота, перед которыми в изумлении застывали все, кому довелось их увидеть, был открыт всем взорам точно так же, как и «сокровищницы» (в свое время их принимали за печи для выпечки хлеба), в том числе и самая знаменитая среди них – «Сокровищница Атрея», первого Пелопида, отца Агамемнона. Это было подземное куполообразное помещение высотой более тринадцати метров, своды которого были сложены из циклопических камней, связанных друг с другом лишь силой собственной тяжести.

¹³ Здесь и далее автор излагает гибель Агамемнона по Гомеру: «Одиссея», 3, 256; 4, 512; 11, 405.

Некоторые античные писатели считали, что именно здесь, в этом районе, находится гробница Агамемнона и его друзей, убитых вместе с ним. Местоположение города было ясным, вопрос же местоположения гробниц был по меньшей мере спорным. Найти наперекор всем ученым Трою Шлиману помог Гомер; на этот раз он опирался на одно место из Павсания, которое считал неверно переведенным и неверно интерпретированным. По общепризнанному мнению (два крупнейших авторитета – англичанин Додуэлл и немец Курциус – придерживались именно этой точки зрения), Павсаний относил гробницу Агамемнона за кольцо крепостного вала. Шлиман же доказывал, что она лежит внутри этого кольца. Это мнение, в основе которого лежало опять-таки не столько научно обоснованное убеждение, сколько ортодоксальная вера в письменные свидетельства древних авторов, он высказал впервые еще в своей книге об Итаке. Впрочем, это не столь важно; важно то, что раскопки подтвердили его правоту. «Я приступил к этой большой работе 7 августа 1876 года вместе с 63 рабочими... Начиная с 19 августа в моем распоряжении находились в среднем 125 человек и четыре телеги, и мне удалось добиться неплохих результатов».



Здесь цари обретали свой последний покой. Разрез и план «Сокровищницы Атрея» в Микенах

Итак, первое, что он обнаружил, не считая бесчисленного множества различных ваз, был какой-то круг, образованный двойным кольцом вертикально поставленных камней. Ничтоже сумняшеся, Шлиман решил, что он раскопал Микенскую агору: этот странный каменный круг он принял за скамью, на которой восседали отцы города во время совещаний и судебных заседаний, ту самую скамью, на которой стоял вестник, призывавший в «Электре» народ на агору.

И когда он у того же Павсания обнаружил еще одно упоминание об агоре – «Здесь собирались они на свои собрания, на том месте, где покоился прах героя», – он уже нисколько не сомневался (та же маниакальная уверенность привела его через шесть городов к «сокровищам царя Приама»), что стоит на могиле Агамемнона.

Затем он обнаружил девять гробниц – пять из них были шахты-могилы и находились внутри крепости, а остальные четыре, на которых еще великолепно сохранился рельеф, относились к следующему веку; они имели куполообразную форму и находились вне крепостных стен. Теперь у Шлимана пропали последние сомнения, ему изменила присущая исследователям осторожность, и он записал: «В самом деле, я нисколько не сомневаюсь, что мне удалось найти те самые гробницы, о которых Павсаний пишет, что в них похоронены Атрей, царь эллинов Агамемнон, его возница Эвримедон, Кассандра и их спутники».

Между тем работа у «Сокровищницы» возле Львиных ворот продвигалась медленно: слой был тверд как камень. Но и здесь Шлиманом руководила все та же уверенность маньяка. «Я убежден в правильности традиции, согласно которой в этих таинственных постройках хранились сокровища царей». И уже первые находки, сделанные среди мусора, кото-

рый пришлось отгребать в сторону для того, чтобы отыскать вход, намного превосходили своим изяществом, красотой и качеством материала аналогичные находки Шлимана в Трое. Обломки фриз, расписные вазы, терракотовые статуэтки Геры, формы для отливки украшений («Эти украшения, вероятно, изготавливались из золота и серебра», – тут же заключил кладоискатель.), глазурованные украшения из глины, стеклянные бусы, геммы...

О том, какую работу проделал Шлиман вместе со своими рабочими, можно судить по следующему его замечанию:

«До сих пор мне еще не встретился слой мусора толщиной более чем в 26 футов, да и тот только около самой стены – здесь целый утес, но далее слой мусора не превышает 13 – 20 футов».

Но игра стоила свеч.

Шестым декабря 1876 года датирована запись Шлимана об открытии первой могилы. Далее надо было действовать с величайшей осторожностью. В течение двадцати пяти дней его жена Софья, верная и неутомимая помощница, работала буквально не разгибая спины; она просеивала руками землю, рыхлила ее ножом. Вместе они нашли еще пять могил, а в могилах – останки пятнадцати человек. Королю Греции была отправлена телеграмма: «С величайшей радостью сообщаю Вашему Величеству, что мне удалось найти погребения, в которых были похоронены Агамемнон, Кассандра, Эвримедон и их друзья, умерщвленные во время трапезы Клитемнестрой и ее любовником Эгистом». Можно себе представить, какое потрясение испытывал Шлиман, когда он отрывал останки тех, кто, как ему казалось, жил в страстях и ненависти более двух тысяч лет тому назад.

Шлиман не сомневался в своей правоте. И в самом деле, разве мало было оснований придерживаться подобной точки зрения, разве не казалось, что факты полностью подтверждают его выводы? «Тела усопших были буквально осыпаны драгоценностями и золотом... Разве обыкновенным смертным положили бы такие драгоценности в могилу?» – спрашивал Шлиман. Было найдено дорогое оружие, которое должно было служить умершему защитой от всяких случайностей в царстве теней. В то же время Шлиман указывал на совершенно явные следы поспешного сожжения тел. Те, кто хоронил их, даже не дали себе труда дожидаться, пока огонь полностью сделает свое дело: они забросали полусожженные трупы землей и галькой с поспешностью убийц, которые хотят замести свои следы. И хотя драгоценные украшения свидетельствовали о каком-то соблюдении обычаев того времени, сами могилы, не говоря уже об усопших, имели такой откровенно неприличный вид, который мог уготовить своей жертве только изощренный в ненависти убийца¹⁴. Разве покойные не были, «словно падаль, брошены в жалкие ямы»? Шлиман призвал на помощь авторитетных для него древних писателей. Он приводил цитаты из «Агамемнона» Эсхила, из «Электры» Софокла и «Орестей» Эврипида. У него не было ни малейшего сомнения в своей правоте, и все же – сегодня мы это знаем совершенно точно – его теория была неверной. Да, он нашел под агорой царские погребения, но не Агамемнона и его друзей, а людей совершенно другой эпохи – погребения, которые были по меньшей мере лет на 400 старше погребения Агамемнона.

Но это, в общем, несущественно. Важно было то, что он сделал еще один великий шаг по дороге, которая вела к открытию древнего мира, что он вновь подтвердил правдивость сведений Гомера и что он открыл сокровища – не только в научном смысле этого слова, –

¹⁴ Беспорядок в гробницах, показавшийся Шлиману бесспорным доказательством поспешности совершения захоронений, был объяснен впоследствии. В частности, в 1951 – 1955 годах в Микенах были раскопаны 24 погребения в шахтных гробницах, аналогичных тем, которые были открыты Шлиманом; в результате было установлено, что захоронения в них совершались не одновременно, а последовательно. При погребении каждого следующего умершего место для него в гробнице освобождали, отодвигая полуистлевшие останки ранее похороненных в сторону; затем могилу вновь засыпали. Таким же образом возникло и то династическое погребение, которое нашел Шлиман.

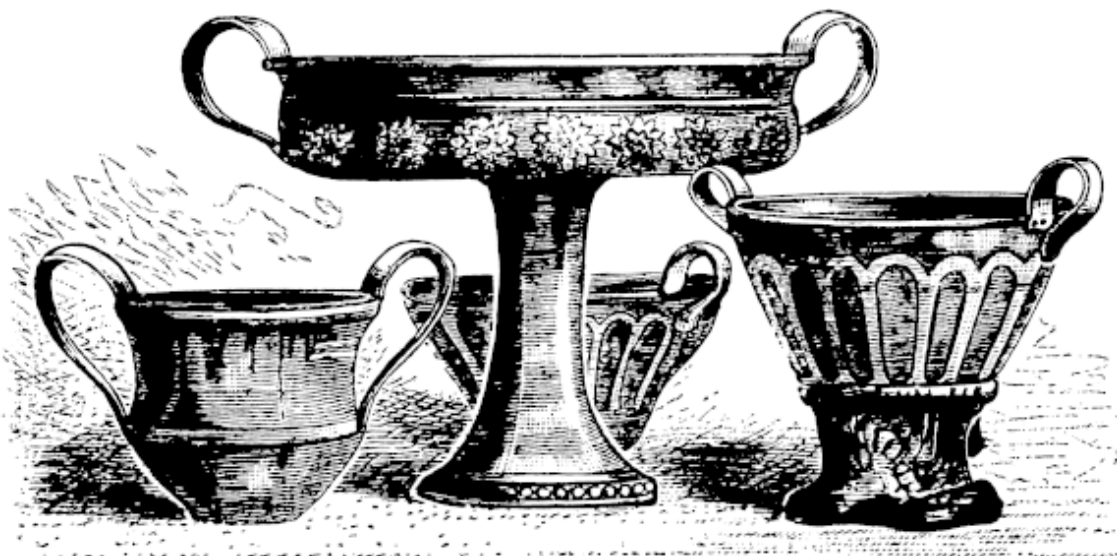
которым мы обязаны сведениями о той культуре, что лежит в основе всей европейской цивилизации.

«Я открыл для археологии совершенно новый мир, о котором никто даже и не подозревал».

И этот удивительный человек, который вновь – в какой уж раз – находится на вершине успеха, который посылает телеграммы министрам и королям, человек, необычайно гордый, но отнюдь не высокомерный, помнит в тот момент, когда весь мир ожидает от него новых известий, о самых незначительных делах и способен до глубины души возмутиться малейшим проявлением несправедливости.

Однажды здесь в числе многих других посетителей раскопок появляется император Бразилии; осмотрев Микены, он, уезжая, дал полицейскому Леонардосу сорок франков (поистине царские чаевые!). Леонардос всегда дружелюбно и лояльно относился к Шлиману, и Шлиман пришел в негодование, когда узнал о распространяемых завистливыми чиновниками слухах, будто Леонардос на самом деле получил не сорок, а тысячу франков и скрыл это. Когда вслед за этим Леонардоса отстранили от должности, Шлиман начал действовать. Всемирно известный ученый готов ради безвестного полицейского прибегнуть к самым могущественным из своих связей. Он телеграфирует прямо министру: «В награду за те многие сотни миллионов, на которые я сделал Грецию богаче, прошу оказать мне любезность – простить моего друга полицейского Леонардоса из Науплиона и оставить его на своем посту. Сделайте это для меня». Но ответ задерживается, и он посылает вторую телеграмму: «Клянусь, полицейский Леонардос честный и порядочный человек. Все только клевета. Даю гарантию, он получил только 40 франков. Требую справедливости». Более того, он идет на самый невероятный шаг: посылает телеграмму императору Бразилии, который тем временем уже успел прибыть в Каир: «Покидая Науплион, Вы, Ваше Величество, дали полицейскому Леониду Леонардосу 40 франков для раздачи всем полицейским. Бургомистр, стремясь оклеветать этого честного малого, утверждает, будто он получил от Вас 1000 франков. Леонардоса отстранили от должности, и только с величайшим трудом мне удалось спасти его от тюрьмы. Поскольку я уже много лет знаю его как честнейшего на свете человека, прошу Вас, Ваше Величество, во имя святой правды и человечности протелеграфировать мне: сколько получил Леонардос – 40 франков или более?».

И ученый Генрих Шлиман, действуя во имя справедливости, заставляет императора Бразилии перед лицом всего мира признаться в своей скупости. Полицейский Леонардос спасен. Так действует Шлиман – фантазер и мечтатель, когда речь идет о древних мирах, холодный, рассудительный детектив, когда охотится за кладами, Михаэль Колхас, когда сражается за правое дело.



Золотые вазы из Микен

Клад, найденный Шлиманом, был огромен. Лишь много позже, уже в нашем столетии, его превзошла знаменитая находка Карнарвона и Картера в Египте. «Все музеи мира, вместе взятые, не обладают и одной пятой частью этих богатств», — писал Шлиман.

В первой могиле Шлиман насчитал пятнадцать золотых диадем — по пять на каждом из трех усопших; кроме того, там были золотые лавровые венки и украшения в виде свастик.

В другой могиле — в ней лежали останки трех женщин — он собрал более 700 тонких золотых пластинок с великолепным орнаментом из изображений животных, медуз, осьминогов. Золотые украшения с изображением львов и других зверей, сражающихся воинов, украшения в форме львов и грифов, лежащих оленей и женщин с голубями... На одном из скелетов была золотая корона с 36 золотыми листками; она украшала голову, уже почти обратившуюся в прах. Рядом лежала еще одна великолепная диадема с приставшими к ней остатками черепа. Он нашел еще пять золотых диадем с золотой проволокой, при помощи которой они закреплялись на голове, бесчисленное множество золотых украшений со свастиками, розетками и спиралями, головные булавки, украшения из горного хрусталя и обломки изделий из агата, миндалевидные геммы из сардоникса и аметиста. Он нашел секиры из позолоченного серебра с рукоятками из горного хрусталя, кубки и ларчики из золота, изделия из алебаstra. Но самое главное, что он нашел те золотые маски и нагрудные дощечки, которые, как утверждала традиция, употреблялись для защиты венценосных усопших от какого-либо постороннего воздействия. Ползая на коленях, он соскребал слой глины (ему и на этот раз помогала жена), под которым были скрыты останки пяти человек из четвертой могилы. Уже через несколько часов головы усопших превратились в пыль. Но золотые мягко поблескивающие маски сохранили форму лиц; черты этих лиц были совершенно индивидуальны, «вне всякого сомнения, каждая из масок должна была являться портретом усопшего».

Он нашел перстни с печатями и великолепными камнями, браслеты, тиары и пояса, 110 золотых цветов, 68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом, нет, на следующей же странице он упоминает еще о 130 золотых пуговицах, на последующих — о золотой модели храма, о золотом осьминоге... Но, пожалуй, достаточно. Мы не будем продолжать это перечисление; описание находок Шлимана занимает 206 страниц большого формата. И все это золото, золото, золото.

Вечером, когда окончился этот день и ночные тени опустились на Микенский акрополь, Шлиман приказал зажечь здесь костры «впервые после перерыва в 2344 года», напоминающие о тех кострах, которые оповестили в свое время Клитемнестру и ее возлюбленного

о грядущем прибытии Агамемнона. На этот раз, однако, костры должны были отпугивать воров от одного из самых богатых кладов, когда-либо изъятых из гробниц умерших царей.



Маска Агамемнона

Глава 6

Шлиман и наука

Третьи большие раскопки Шлимана не дали золота, но в результате их он открыл поселение в Тиринфе. Благодаря этим раскопкам и предыдущим открытиям Шлимана в Микенах, а также тем открытиям, которые сделал на Крите десять лет спустя английский археолог Эванс, постепенно начали вырисовываться очертания древней цивилизации, распространенной когда-то на всем Средиземноморье. Но, прежде чем рассказывать об этом, мы позволим себе сказать несколько слов о месте Шлимана в науке своего времени. Этот вопрос не потерял своей актуальности: ведь и сегодня еще каждому исследователю приходится вести свою работу под перекрестным огнем критики публики и ученого мира. Донесения Шлимана имели совершенно другую аудиторию, чем «Донесения» Винкельмана. Светский человек XVIII столетия, Винкельман писал для людей образованных, для небольшого круга посвященных, для владельцев музеев или, по крайней мере, для тех, кто благодаря своей принадлежности к высшему обществу имел доступ к памятникам искусства древности. Этот узкий мирок был потрясен раскопками Помпеи. Известие о каждой находке новой статуи приводило его в восторг, но интересы этого мирка никогда не шли дальше художественно-эстетического любования. Влияние Винкельмана было весьма действенным, но он нуждался в посредниках, в медиумах – поэтах и писателях, которые помогли ему вынести его идеи за пределы узкого круга просвещенных людей.

Шлиман действовал без посредников. Он сам сообщал о всех своих находках и сам был их первым почитателем. Его письма распространялись по всему свету, его статьи печатались во всех газетах. Если бы в те времена существовали радио, кино, телевидение, Шлиман был бы первым, кто воспользовался ими. Его открытия в Трое вызвали бурю не в узком кругу образованных людей, но в душе каждого человека. Винкельмановские описания статуй были близки сердцу эстетов, приводили в восхищение знатоков. Шлимановские золотые клады потрясли умы людей, принадлежавших к эпохе, которая получила название века грюндерства, – людей, живших во времена хозяйственного подъема, ценивших так называемых *selfmademan*'ов и обладавших здравым смыслом, людей, которые стали на сторону Шлимана тогда, когда «чистая наука» отвернулась от «профана и дилетанта».

Через два-три года послешлимановских газетных сообщений 1873 года один директор музея вспоминал: «Когда появились эти сообщения, волнение охватило и публику и ученых. Повсюду: в домах, на улице, в почтовых каретах и железнодорожных вагонах только и было разговоров, что о Трое. Удивление и любопытство охватило всех».

Если Винкельман показал нам, по выражению Гердера, «тайну греков лишь издали», то Шлиману принадлежит честь открытия всего мира античности. С удивительной смелостью он вывел археологию из освещенных тусклым светом керосиновых ламп кабинетов ученых под залитый солнцем свод эллинских небес и с помощью заступа решил проблему Трои. Он совершил прыжок из сферы классической филологии в живую предысторию и превратил ее в классическую науку. Темпы, которыми осуществлялась эта революция, неизменный успех Шлимана, сам он – не то купец, не то ученый, достигший, однако, поразительных успехов и на том и на другом поприще, «рекламный характер» его публикаций – все это шокировало весь ученый мир, и в первую очередь немцев. Чтобы представить себе размах вспыхнувшего против него мятежа, достаточно вспомнить, что в годы, когда деятельность Шлимана уже развернулась, вышло в свет 90 работ, посвященных Трое и Гомеру, авторами которых были кабинетные ученые. Основной огонь своих филиппик противники Шлимана обрушили на его дилетантизм. Нам и в дальнейшем на протяжении всей истории археологии встретится мрачная фигура археолога-профессионала, который с тупой цеховой ограниченностью пре-

следует тех, кто отваживается помыслить о новом прыжке в неизвестное. Нападки на Шлимана носили весьма серьезный характер. Именно поэтому здесь следует привести некоторые выдержки и цитаты. Первое слово предоставляем одному весьма озлобленному философу – Артуру Шопенгауэру:

«Дилетанты, дилетанты» – так пренебрежительно называют тех, кто занимается какой-либо наукой или искусством из любви, *per il loro diletto* и испытывает от этого радость, те, кто превратил эти занятия в средство для заработка.

Это пренебрежение основывается на присущем им низком, гнусном убеждении, что ни один человек никогда серьезно не возьмется за то или иное дело, если к этому его не побуждает голод, нужда или еще что-нибудь в этом роде. Публика воспитана в том же духе и поэтому придерживается того же мнения. Она обычно с почтением относится к "специалистам" и с недоверием к дилетантам. В действительности же, наоборот, для дилетанта его дело – цель, а для специалиста оно всего лишь средство, и лишь тот с полной серьезностью отдается делу, кто интересуется им, кто занимается им *con amore*. Именно такие люди, а не поденщики совершили все великое».

Профессор Вильгельм Дерпфельд, сотрудник Шлимана, его советчик и друг, один из немногих специалистов, которых Германия дала ему в помощь, писал в 1932 году: «Он так и не понял и никогда не мог бы понять, почему некоторые ученые, и в частности немецкие филологи, встретили его работы о Трое и Итаке насмешками и издевательствами. Я также всегда сожалел о том, что некоторые крупные ученые впоследствии встретили насмешками и мои сообщения о раскопках в гомеровских местах, ибо считаю их иронические замечания не только несправедливыми, но и научно несостоятельными». Недоверие «специалиста» к удачливому «аутсайдеру» – это недоверие мещанина к гению. Человек, идущий по колею обеспеченного образа жизни, презирает того, кто бредет по ненадежным зонам, кто «поставил на ничто». Это презрение необоснованно.

Если мы возьмем историю научных открытий за какой угодно период, нам будет не так трудно установить, что многие из выдающихся открытий были сделаны «дилетантами», «аутсайдерами» или вовсе «аутодидактами», людьми, одержимыми одной идеей, людьми, которые не знали тормоза специального образования и шор «специализации» и которые просто перепрыгивали через барьеры академических традиций.

Отто фон Герике, величайший немецкий физик XVII столетия, был по образованию юристом. Дени Папен был медиком. Бенджамин Франклин, сын простого мыловара, не получив ни гимназического, ни университетского образования, стал не только выдающимся политиком (этого достигали люди и с меньшими способностями), но и великим ученым. Гальвани, человек, открывший электричество, был медиком и, как доказывает Вильгельм Оствальд в своей «Истории электрохимии», был обязан своему открытию именно пробелам в собственных знаниях. Фраунгофер, автор выдающихся работ о спектре, до четырнадцати лет не умел ни читать, ни писать. Михаил Фарадей, один из самых значительных естествоиспытателей, был сыном кузнеца и начал свою карьеру переплетчиком. Юлиус Роберт Майер, открывший закон сохранения энергии, был врачом. Врачом был и Гельмгольц, когда он в двадцатилетнем возрасте опубликовал свою первую работу на ту же тему. Бюффон, математик и физик, свои самые выдающиеся работы посвятил вопросам геологии. Томас Земмеринг, который сконструировал первый электрический телеграф, был профессором анатомии. Самуил Морзе был художником, точно так же как и Дагерр. Первый был создателем телеграфной азбуки, второй изобрел фотографию. Одержимые, создавшие управляемый воздушный корабль, – граф Цеппелин, Гросс и Парсеваль – были офицерами и не имели о технике ни малейшего понятия.

Этот список бесконечен. Если убрать этих людей и их творения из истории науки, ее здание обрушится. И тем не менее каждого из них преследовали насмешки и издевательства.

Этот список можно продолжить и применительно к истории той науки, которой мы здесь занимаемся. Вильям Джонс, которому мы обязаны первыми серьезными переводами с санскрита, был не ориенталистом, а судьей в Бенгалии. Гротефенд – первый, кто расшифровал клинопись, был по образованию филологом-классиком; его последователь Роулинсон – офицером и дипломатом. Первые шаги на долгом пути расшифровки иероглифов сделал врач Томас Юнг. А Шампольон, который довел эту работу до конца, был профессором истории. Хуман, раскопавший Пергам, был железнодорожным инженером.

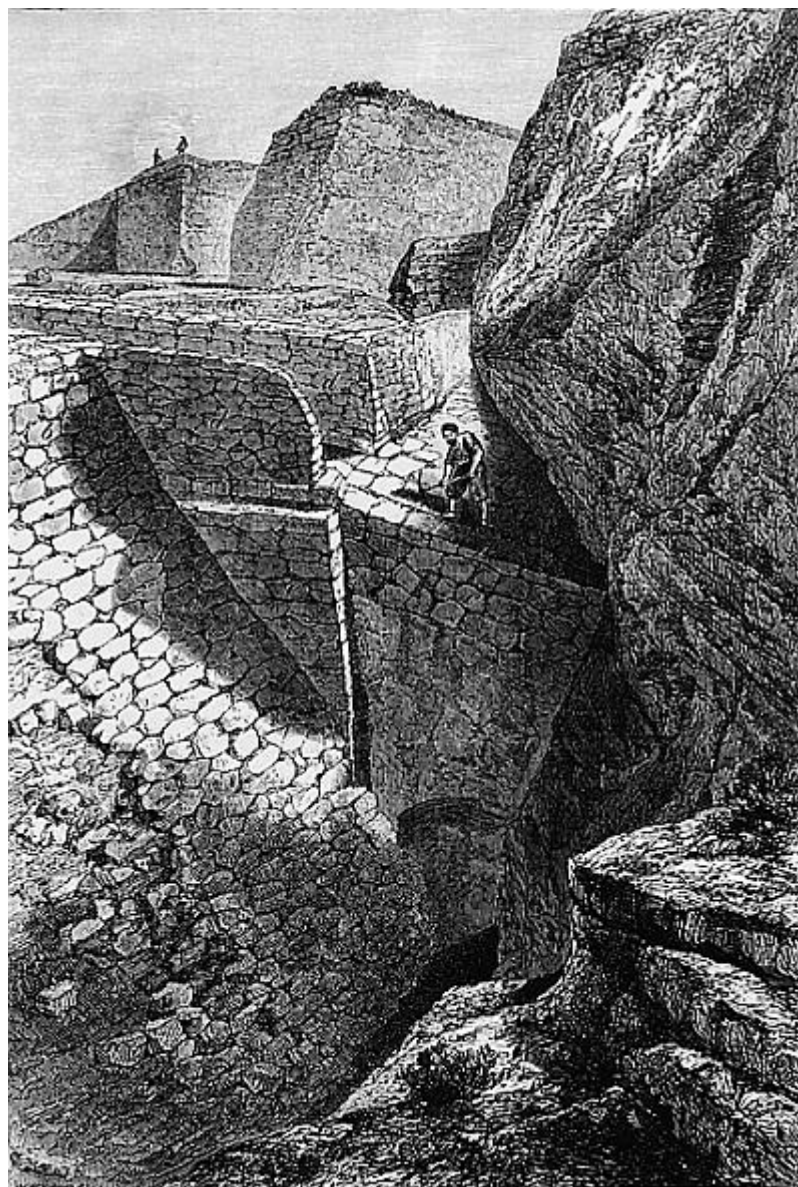
Достаточно ли примеров, чтобы стала ясна основная наша мысль? Мы не оспариваем роли специалистов. Но разве судят не по результатам, если, разумеется, средства были чистыми? Разве «аутсайдеры» не достойны особой благодарности?

Да, во время своих первых раскопок Шлиман допустил серьезные ошибки. Он уничтожил ряд древних сооружений, он разрушил стены, а все это представляло определенную ценность. Но Эд. Майер, крупнейший немецкий историк, прощает ему это. «Для науки, – писал он, – методика Шлимана, который начинал свои поиски в самых нижних слоях, оказалась весьма плодотворной; при систематических раскопках было бы очень трудно обнаружить старые слои, скрывавшиеся в толще холма, и тем самым ту культуру, которую мы обозначаем как троянскую».

Трагической неудачей было то, что именно первые его определения и датировки почти все оказались неверными. Но, когда Колумб открыл Америку, он считал, что ему удалось достичь берегов Индии, – разве это умаляет хоть сколько-нибудь его заслуги?

Бесспорно одно: если в первый год он вел себя на холме Гиссарлык, как мальчик, который, стремясь узнать, как устроена игрушка, разбивает ее молотком, то человеку, открывшему Микены и Тиринф, трудно отказать в признании его настоящим специалистом-археологом. С этим соглашались и Дерпфельд и великий Эванс; последний, однако, с оговорками.

В свое время от «деспотической страны» Пруссии немало натерпелся Винкельман; Шлиман также много пережил из-за того, что его не понимали именно в той стране, откуда он был родом и в которой родились его юношеские мечты. Несмотря на то что результаты его раскопок были известны всему миру, в этой стране еще в 1888 году оказалось возможным появление второго издания книги некоего Форхгаммера под названием «Объяснение "Илиады"» («Erklärung der Ilias»), в которой сделана бесславная попытка представить Троянскую войну как борьбу морских и речных течений, а также тумана и дождя на Троянской равнине. Шлиман защищался как лев. Когда капитан Беттихер, мякинная голова, ворчун, – главный противник Шлимана – додумался до утверждения, будто Шлиман во время своих раскопок специально разрушил городские стены, чтобы уничтожить все, что могло бы противоречить его гипотезам о древней Трое, Шлиман пригласил его в Гиссарлык, взяв на себя все расходы по путешествию. Присутствовавшие на их встрече компетентные лица подтвердили правильность точки зрения Шлимана и Дерпфельда. Капитан внимательно осмотрелся вокруг, скорчил недовольную мину и, вернувшись домой, принялся утверждать, будто «так называемая Троя» есть на самом деле не что иное, как огромный античный некрополь. Тогда Шлиман во время четвертых раскопок 1890 года пригласил на свой холм ученых всего мира. У подножия холма, в долине Скамандра, он соорудил дощатые домики, в которых должны были найти приют четырнадцать ученых. На его приглашение откликнулись англичане, американцы, французы, немцы (в их числе Вирхов). И, потрясенные всем виденным, эти ученые пришли к тем же выводам, что Шлиман и Дерпфельд.



И сегодня удивляет, какое количество земли пришлось переместить рабочим Шлимана в Трое и как трудно было археологам на раскопках реконструировать историю этого места из беспорядочного нагромождения камней

Коллекции Шлимана были уникальными. По его завещанию они должны были перейти в собственность той нации, «которую, — как писал Шлиман, — я люблю и ценю больше всего». В свое время он предлагал их греческому правительству, затем французскому. Одному русскому барону он писал в 1876 году в Петербург: «Когда несколько лет назад меня спросили о цене моей троянской коллекции, я назвал цифру 80 000 фунтов. Но я провел двадцать лет в Петербурге, и все мои симпатии принадлежат России; поскольку я бы очень хотел, чтобы эта коллекция попала именно в эту страну, я прошу у русского правительства 50 000 фунтов и в случае необходимости готов даже снизить эту цену до 40 000 фунтов».

Однако самые искренние его привязанности — он неоднократно об этом говорил — принадлежали Англии, стране, в которой его деятельность нашла самый широкий отклик, стране, где газета «Таймс» предоставляла ему свои полосы еще в те времена, когда все немецкие газеты были для него закрыты; премьер-министр Англии Гладстон написал предисловие к его книге о Микенах, а еще ранее знаменитый А. Г. Сейс из Оксфорда — к книге о

Трое. Тем, что коллекции все же в конце концов попали «на вечное владение и сохранение» в Берлин, мы опять-таки обязаны (какая ирония судьбы!) человеку, увлекавшему археологией лишь как любитель, – великому врачу Вирхову, которому удалось добиться избрания Шлимана почетным членом антропологического общества, а несколько позже и почетным гражданином Берлина наряду с Бисмарком и Мольтке.

Глава 7

Микены, Тиринф, остров загадок

В 1876 году, 54 лет от роду, Шлиман приступил к раскопкам в Микенах. В 1878 – 1879 годах при поддержке Вирхова он вторично раскапывает Трою; в 1880 году он открывает в Орхомене, третьем городе, который Гомер наделяет эпитетом «златообильный», сокровищницу царя Минин; в 1882 году совместно с Дерпфельдом вновь, в третий раз, раскапывает Трою, а двумя годами позже начинает раскопки в Тиринфе.

И снова знакомая картина: крепостная стена Тиринфа находится прямо на поверхности, она не скрыта под слоем земли; пожар превратил ее камни в известку, а скреплявшую их глину – в настоящий кирпич: археологи принимали ее за остатки средневековой стены, и в греческих путеводителях было написано, что в Тиринфе нет никаких особых достопримечательностей.

Шлиман опять доверился древним авторам. Он начал копать с таким рвением, что даже разрушил тминную плантацию одного крестьянина из Кофиниона и вынужден был уплатить штраф в 275 франков.

Тиринф считался родиной Геракла. Циклопические стены вызывали во времена античности восхищение. Павсаний сравнивает их с пирамидами. Рассказывали, что Проитос, легендарный правитель Тиринфа, призвал семь циклопов, которые и выстроили ему эти стены. Впоследствии такие же стены были сооружены в других местах, прежде всего в Микенах, что дало основание Эврипиду называть Аргolidу «циклопической страной».

Во время раскопок Шлиман наткнулся на стены дворца, превосходящего своими размерами все когда-либо до этого виденное и дающего великолепное представление о древнем народе, который его построил, и о его царях, которые здесь жили.

Город возвышался на известняковой скале, словно форт; стены его были выложены из каменных блоков длиной в два-три метра, а высотой и толщиной в метр. В нижней части города, там, где находились хозяйственные постройки и конюшни, толщина стен составляла семь-восемь метров. Наверху, там, где жил владелец дворца, стены достигали одиннадцати метров в толщину, высота их равнялась шестнадцати метрам.

Какое зрелище должны были представлять собой внутренние помещения дворца, когда их заполняли толпы вооруженных воинов! До сих пор о планировке гомеровских дворцов ничего не было известно, ибо ни от дворца Менелая, ни от дворца Одиссея, ни от дворцов других властителей не осталось никаких следов; остатки Трои, города Приама, также не давали возможности разобраться в плане построек.

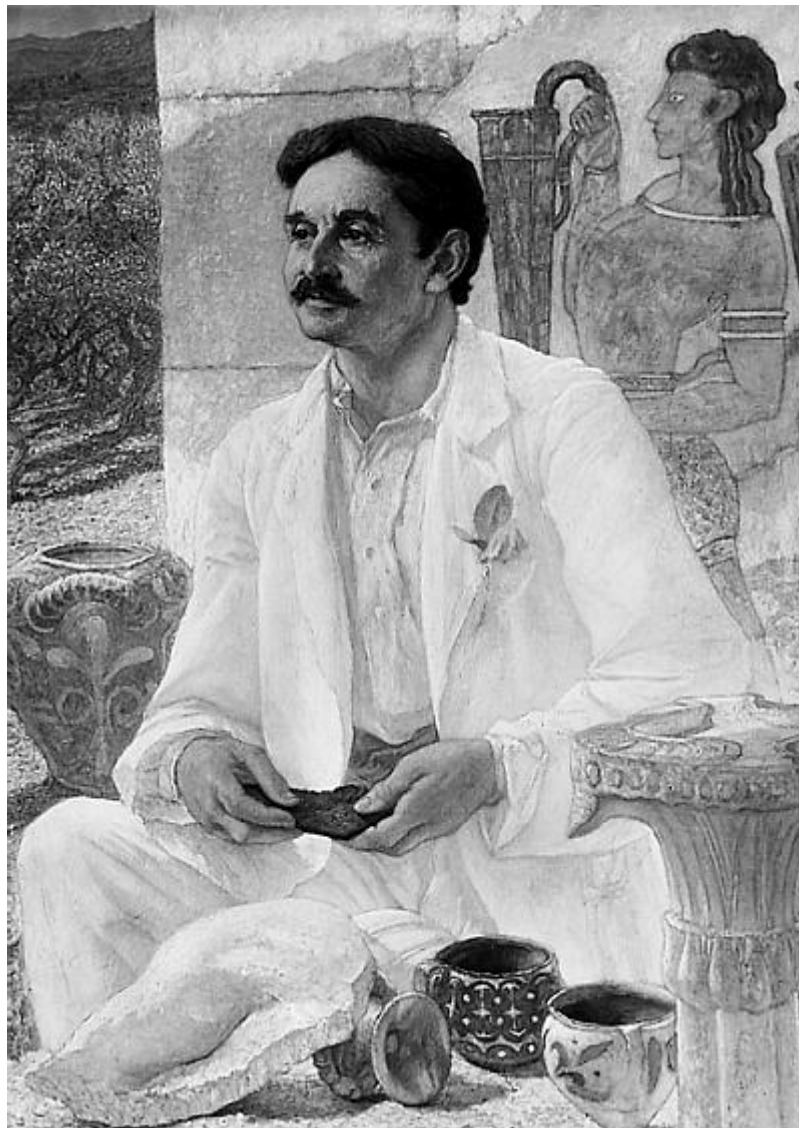
Здесь же явился свету настоящий гомеровский дворец с залами и колоннадами, с красивым мегароном (залом с очагом), с атриумом и пропилеями. Здесь еще можно было увидеть остатки банного помещения (пол в нем заменяла цельная известняковая плита весом 20 тонн), того, в котором герои Гомера мылись и умащивали себя мазями. Здесь перед заступом исследователя открывались картины, напоминающие сцены из «Одиссеи», в которых повествуется о возвращении хитроумного, о пире женихов, о кровавой бойне в большом зале.

Но еще больший интерес представляли керамика и стенная роспись. Уже с самого начала Шлиману стало ясно, что найденная им в Тиринфе керамика – все эти вазы и глиняная посуда – родственны той керамике, которую он нашел в Микенах. Более того, она, несомненно, родственна тем изделиям из глины, которые были найдены другими археологами в Азине, Науплионе, Элевсе и на различных островах, прежде всего на острове Крит. Разве найденное им в Микенах страусовое яйцо (сначала он принял его за алебастровую вазу) не свидетельствовало о связях Микен с Египтом? А разве он не нашел здесь ваз с так называ-

емым «геометрическим орнаментом», таких же, какие еще за полторы тысячи лет до н. э. финикийцы привозили ко дворцу Тутмоса III?

И он подбирает один аргумент за другим, чтобы доказать, что ему удалось напасть на след культурных связей азиатского или африканского происхождения, на след той цивилизации, которая была распространена на всем восточном берегу Греции и на островах Эгейского моря, центр которой, вероятно, находился на острове Крит. Сегодня мы называем эту культуру крито-микенской. Шлиман обнаружил ее первые следы, но открыть ее было суждено другому исследователю.

Все помещения дворца были побелены, а стены украшали расписные фриз, протянувшиеся желто-голубым поясом на высоте человеческого роста.



Артур Эванс (1851–1941)

Одна из росписей представляла особый интерес: на голубом фоне был изображен могучий бык; круглые от бешенства глаза, вытянутый хвост свидетельствуют о состоянии дикой ярости животного. А на быке, держась за его рог, то ли подпрыгивает, то ли танцует всадник. По этому поводу Шлиман приводит в своей книге о Тиринфе слова некоего доктора Фабрициуса: «Можно предположить, что всадник – это искусный наездник или укротитель быков, который показывает свое мастерство, свою готовность в любую минуту вспрыгнуть на спину разъяренного животного, так же как это делает упомянутый в известном месте "Илиады"»

укротитель лошадей, который, управляя четверкой коней, перепрыгивает на всем скаку со спины одной лошади на другую». Это объяснение, к которому, очевидно, Шлиман в то время ничего не мог добавить, было, однако, недостаточным¹⁵. Но если бы Шлиман претворил в жизнь то, к чему он так часто возвращался в мыслях, и поехал на остров Крит, он нашел бы там нечто такое, что, дополнив эту картину, многое бы прояснило и послужило бы венцом делу его жизни. Мысль осуществить раскопки на Крите, в частности у Кносса, не оставляла Шлимана до его последнего часа. За год до смерти он писал: «Мне бы хотелось достойно увенчать дело моей жизни, завершив ее большой работой: откопать древний дворец кносских царей на Крите, который, как мне кажется, я открыл три года назад».

Но препятствия были велики. Правда, Шлиман сумел раздобыть письменное разрешение губернатора Крита, однако владелец холма запросил сумасшедшие деньги. Он пожелал не более не менее как 100 000 франков и только за эту сумму соглашался продать свой участок. Шлиман долго торговался и в конце концов сбил цену до 40 000 франков. Однако, возвратившись на Крит с тем, чтобы подписать договор, он пересчитал число оливковых деревьев в своем новом имении и к своему удивлению обнаружил, что участок отрезан совершенно не так, как это было сказано в договоре: вместо 2500 оливковых деревьев на участке оказалось всего лишь 888. И тогда Шлиман отказался от сделки: торговец взял в нем верх над археологом. Пожертвовав ради науки целым состоянием, он из-за 1612 оливковых деревьев лишил себя возможности разыскать ключ к тем проблемам, которые он сам же выдвинул в ходе своих открытий, но далеко не все из которых сумел разрешить.

Стоит ли об этом сожалеть? Нет. Смерть, вырвав в 1890 году из его рук заступ, уложила в могилу великого исследователя, жизнь которого была богата и содержательна.

Рождественские праздники 1890 года он хотел провести вместе с женой и детьми. Его очень мучило разболевшееся ухо. Занятый новыми проектами, он ограничился тем, что при проезде через Италию проконсультировался о своей болезни с двумя-тремя врачами. Они успокоили его. Но в первый день Рождества он упал прямо на улице, на Пьяцца дель Санта Карита в Неаполе, не потеряв, правда, сознания, но лишившись речи. Добрые люди доставили миллионера в больницу, однако там его отказались принять. Тогда его отправили в полицию.

Здесь при нем обнаружили адрес одного из врачей. Врача вызвали. Когда тот прибыл, он опознал пациента и послал за дрожками. Глядя на лежащего на полу человека в простой одежде, которая казалась даже бедной, кучер поинтересовался, кто, собственно, будет платить. «Он богач», – ответил врач и в доказательство вытащил из кармана больного кошелек, туго набитый золотом.

Шлиман промучился всю ночь; он был все время в сознании. К утру он умер.

Тело его было привезено в Афины. У его гроба стояли король и наследный принц, дипломатические представители, греческие министры, руководители всех греческих научных институтов. Перед бюстом Гомера благодарили они друга эллинов, человека, который сделал историю Греции богаче на тысячу лет. У гроба его стояли жена и дети – Андромаха и Агамемнон.

Человека, которому было суждено почти полностью замкнуть тот круг, смутные очертания которого скорее угадал, чем увидел Шлиман, звали Артур Эванс. Он родился в 1851 году, и, следовательно, в год смерти Шлимана ему было 39 лет.

Англичанин с головы до пят, он был полной противоположностью Шлиману. Эванс получил образование в Харроу, Оксфорде и Геттингене; увлекшись расшифровкой иеро-

¹⁵ «Акробатические упражнения», или «танцы», на быках, встречающиеся на фресках в Тиринфе и Кносском дворце, имели, по-видимому, культовое значение. Не случайно изображение быка встречается и в торевтике, и в литье, и в других видах искусства.

глифов, он нашел неизвестные ему знаки, которые привели его на Крит, где в 1900 году он приступил к раскопкам; в 1909 году он был назначен профессором археологии в Оксфорде. Медленно, но верно поднимаясь по лестнице рангов в науке, он наконец сумел добавить к своему имени «сэр». Артур Эванс был отмечен многими наградами, в частности в 1936 году Королевское общество наградило его медалью Коплея; короче говоря, по всему складу своего характера и развитию он был полной противоположностью вечно мятущемуся, необузданному Шлиману. Однако результаты его исследований были не менее интересными. Эванс прибыл на Крит для того, чтобы убедиться в правильности своей теории, касающейся заинтересовавших его письменных знаков, и не рассчитывал задержаться здесь надолго. Во время поездок по острову он обратил внимание на огромные кучи щебня и руины – те самые, которые в свое время увлекли и околдовали Шлимана. И вот в один прекрасный день Эванс оставил свою теорию письменности и взялся за лопату. Это было в 1900 году. Годом позже он объявил, что ему понадобится по меньшей мере еще один год для того, чтобы раскопать все, что может представить интерес для науки. Но он ошибался. На самом деле четверть века спустя он все еще продолжал свои раскопки на том же месте.

Он шел по следам легенд и мифов – точно так же, как Шлиман. Он раскапывал дворцы и клады – так же, как и Шлиман. Он завершил работу над той картиной, которую в общих чертах обрисовал Шлиман, но одновременно набросал эскизы ко многим другим картинам – к тем, для которых у нас пока еще не хватает красок. Воткнув заступ в землю Крита, он встретился с островом загадок.



Созданный около 1700 г. до н. э. фестский диск может считаться первым известным печатным образцом шрифта

Глава 8

Нить Ариадны

Остров Крит расположен в самой крайней точке огромной горной дуги, протянувшейся из Греции через Эгейское море к Малой Азии. Эгейское море никогда не было непреодолимым барьером между континентами. Это доказал еще Шлиман, когда он обнаружил в Микенах и Тиринфе предметы из различных отдаленных стран; Эвансу же было суждено найти на Крите африканскую слоновую кость и египетские статуи. Хозяйственное и экономическое единство связывало острова Эгейского моря и обе метрополии. Метрополия в данном случае не означала материк, континент, ибо очень скоро было установлено, что настоящим материком (в том смысле, что творческое начало исходило именно отсюда) был один из островов – Крит.

И даже сам Зевс согласно легенде родился на этом острове, в пещере Дикты, от «Великой матери» Реи, жены Кроноса. Пчелы приносили ему мед, коза Амалфея кормила его своим молоком, нимфы охраняли его. Юные куреты стояли у входа в пещеру, готовые защитить маленького Зевса от собственного отца, Кроноса, пожиравшего своих детей.

Легендарный царь Минос, сын Зевса, один из могущественнейших и прославленнейших властителей, жил и царствовал на этом острове. Артур Эванс начал с раскопок близ Кносса. Античная стена была покрыта здесь лишь тонким слоем почвы. Уже через два-три часа можно было говорить о первых результатах. Двумя неделями позже изумленный Эванс стоял перед остатками строений, покрывавших восемь аров, а с годами из-под земли появились развалины дворца, занимавшего площадь в два с половиной гектара.

Своей общей планировкой Кносский дворец напоминал дворцы в Тиринфе и Микенах, более того, находился с ними в явном родстве, несмотря на то что внешне он весьма от них отличался. В то же время его гигантские размеры, роскошь и простота лишний раз подчеркивали, что Тиринф и Микены могли быть только второстепенными городами, столицами колоний, далекой провинцией.

Вокруг центрального двора – огромного прямоугольника – были расположены здания со стенами из полых кирпичей и с плоскими крышами, которые поддерживались колоннами. Но покои, коридоры и залы были расположены в таком причудливом порядке, предоставляли посетителю так много возможностей заблудиться и запутаться, что всякому, кто попадал во дворец, должна была поневоле прийти в голову мысль о лабиринте; она должна была появиться даже у того, кто никогда в жизни не слышал легенду о царе Миносе и построенном Дедалом лабиринте – прообразе всех будущих лабиринтов.

Эванс не колеблясь объявил миру, что он нашел дворец Миноса, сына Зевса, отца Ариадны и Федры, владельца лабиринта и хозяина ужасного быко-человека или человеко-быка – Минотавра.

Он открыл здесь настоящие чудеса. Народ, населявший эти места (Шлиман нашел лишь следы его колоний), о котором до сих пор ничего не было известно – если не считать того, что рассказывалось в легендах, – оказывается, утопал в роскоши и сладострастии и, вероятно, на вершине своего развития дошел до того сибаритствующего «декаданса», который таил уже в себе зародыш упадка и регресса культуры. Только высочайший экономический расцвет мог привести к подобному вырождению. Как и ныне, Крит был в те времена страной производства вина и оливкового масла. Он был центром торговли, точнее говоря, морской торговли. И то, что на первых порах, в то время, когда Эванс еще только приступил к своим раскопкам, поразило весь мир – богатейший дворец древности не имел ни вала, ни укреплений, – в скором времени нашло свое объяснение: торговые склады, коммерческая деятельность нуждались в более мощной защите, чем крепостные стены – сооружение

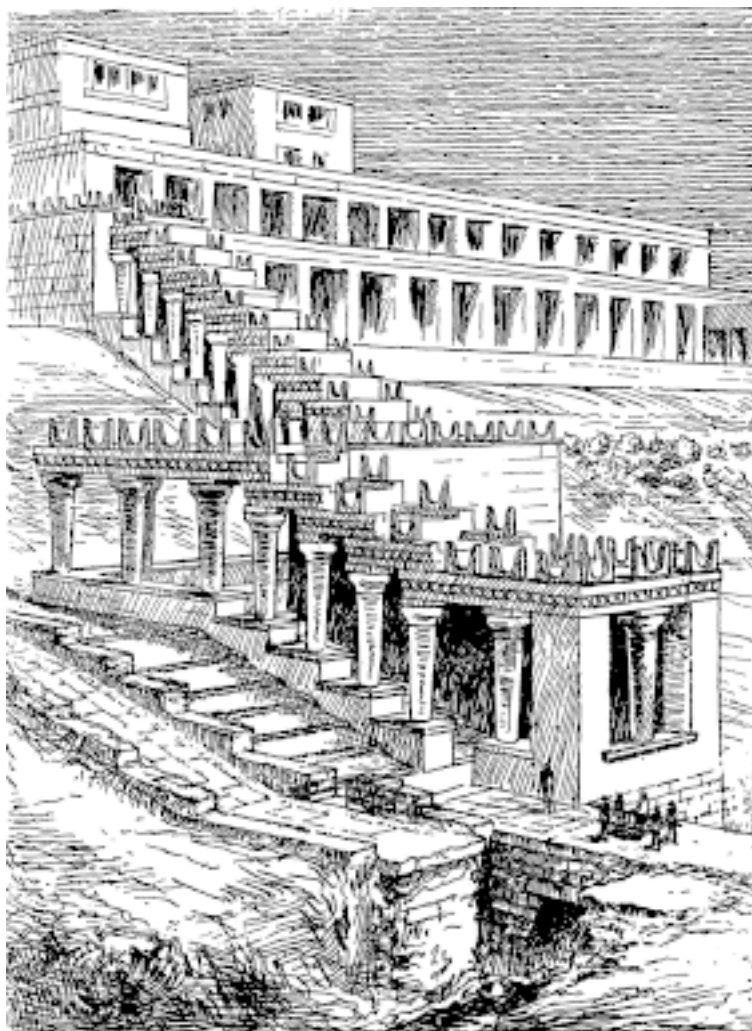
чисто оборонительное. Такой защитой был могущественный, господствовавший над всем морфлот.

Жемчужиной моря, драгоценной геммой, вправленной в синь небес, должна была казаться эта столица приближающимся к острову морякам; ее иссиня-белые стены, ее колонны из известняка, казалось, излучали блеск роскоши и богатства.

Эванс нашел кладовые. Там стояли богато орнаментированные гигантские сосуды – пифосы, некогда полные масла; их изящный орнамент напоминал тот, который был обнаружен на сосудах в Тиринфе. Эванс не поленился вычислить общую емкость всех находившихся в кладовой пифосов. Она составила 75 000 литров. Таким был дворцовый запас...

Кто же пользовался всем этим богатством?

Прошло немного времени, и Эванс убедился в том, что не все его находки можно отнести к одной и той же эпохе, что не все стены дворца имеют одинаковый возраст и не вся керамика, не весь фаянс, не все рисунки возникли в одно и то же время. Вскоре, пристальнее взглядевшись в даль тысячелетий, он разобрался в эпохах этой цивилизации и разграничил ее (деление это не потеряло своего значения и поныне) на периоды: раннеминойский (III – II тысячелетие до н. э.), среднеминойский (примерно до 1600 года до н. э.) и позднеминойский – самый короткий, заканчивающийся примерно 1250 годом до н. э.



Реконструкция южного входа в Кносский дворец

Он нашел следы деятельности человека, относящиеся к одному из самых ранних периодов, к неолиту, то есть к тому времени, когда металл был еще неизвестен, а все орудия, вся

утварь выделялись из камня. Эванс отнес эти следы к X тысячелетию до н. э. Другие ученые оспаривают его мнение: они считают эту дату сомнительной и относят находки Эванса к V тысячелетию. На чем основаны все эти расчеты, какие данные положил в основу своей периодизации Эванс?

Эванс нашел на Крите множество предметов иностранного происхождения, в частности керамические изделия из Египта, относящиеся к совершенно определенным, твердо датировемым периодам истории этой страны, ко временам господства той или иной династии. Период расцвета этой культуры он отнес ко времени перехода от среднеминойской к позднеминойской эпохе, то есть примерно к 1600 году до н. э. – предположительному времени жизни и царствования Миноса, предводителя флота, властелина моря. Это было время, когда всеобщее благосостояние уже начало перерастать в роскошь, а красота была возведена в культ. На фресках изображали юношей, собиравших на лугах крокусы и наполнявших ими вазы, девушек среди лилий.

Цивилизация была накануне вырождения; ей на смену шла неумная роскошь. В живописи, которая раньше была подчинена определенным формам, теперь господствовало буйное сверкание красок, жилище должно было служить не только обителью – оно должно было улаживать глаз; даже в одежде видели лишь средство для проявления утонченности и индивидуальности вкуса.

Приходится ли удивляться тому, что Эванс употребляет термин «модерн» для характеристики своих находок? В самом деле, в этом дворце, который не уступал по своим размерам Букингемскому, были водоотводные каналы, великолепные банные помещения, вентиляция, сточные ямы. Параллель с современностью напрашивалась и при виде изображений людей, позволявших судить о их манерах, их одежде, их модах. Еще в начале среднеминойского периода женщины носили высокие остроконечные головные уборы и длинные пестрые платья с поясом, с глубоким декольте и высоким корсажем.

Теперь эта старинная одежда приобрела утонченный и изысканный вид. Обычное платье превратилось в своего рода корсет с рукавами, тесно облегавший фигуру, подчеркивавший формы и обнажавший грудь – теперь, однако, уже из чувственного кокетства. Платья были длинные, с оборками, богатой и пестрой расцветки, некоторые узоры изображали крокусы, вырастающие из волнистой линии – условного изображения горного пейзажа; поверх платья надевался пестрый передник. На голове дамы носили высокий чепец. И если сейчас у женщин в подражание мужчинам модны короткие волосы, то критские женщины были, с нынешней точки зрения, сверхмодницами, ибо они причесывались точно так же, как мужчины!

Таковыми они и предстают перед нами на рисунках: вот они оживленно беседуют, сидя в непринужденных позах на садовой скамейке, в их взорах и выражениях лиц – истинно французский шарм. Кажется невероятным, что эти дамы жили несколько тысячелетий назад! Вспоминаешь об этом лишь тогда, когда бросишь взгляд на мужчин: всю их одежду составляет облегающий бедра передник.

Среди всех этих замечательных рисунков, найденных Эвансом («Даже наши рабочие чувствовали их волшебное очарование», – писал он), вновь мелькает один, уже знакомый нам: изображение плясуна на быке.

Плясун? Артист? Таково было мнение Шлимана, когда он обнаружил этот рисунок в Тиринфе, в этом городе-форпосте, в котором не было ничего, что могло заставить его вспомнить о старых легендах, о быках и жертвах, о дымящейся крови в храмах.

Иное дело Эванс. Разве не стоял он на земле, на которой царствовал Минос, повелитель Минотавра – чудовища с туловищем человека и головой быка? Что говорит об этом легенда?

Минос, царь Кносса, Крита и всех эллинских морей, послал своего сына по имени Андрогей в Афины принять участие в играх. Более сильный, чем его соперники греки,

Андрогей одержал над ними победу, но был из зависти убит Эгеем, царем Афин. Разгневанный Минос послал в Афины свой флот, завладел городом и наложил на него ужасную контрибуцию: через каждые девять лет афиняне должны были посылать ему семь юношей и семь девушек – цвет своей молодежи – в качестве жертв Минотавру. Когда подошел третий срок, Тесей, сын Эгея, возвратившийся к тому времени домой из длительного, полного героических деяний похода, вызвался поехать на Крит, чтобы убить чудовище:

*Через Критское море помчался корабль...
Вез он Тесея, и семь девушек, и семь юношей.*

Черные паруса развевались на мачтах корабля; под белыми парусами должен был Тесей вернуться домой, если замысел его удастся. Ариадна, дочь Миноса, увидав идущего на смерть героя, потеряла покой и сердце. Она вручила Тесею меч и клубок нитей, чтобы он не запутался в лабиринте; конец нити она держала в руках, когда отправился он к Минотавру. В ужасной схватке Тесей одолел чудовище, благодаря нити нашел обратную дорогу и вместе с Ариадной и друзьями поспешил домой. Но так взволнован был он неожиданным спасением, что позабыл сменить паруса. Эгей, отец его, увидев черные паруса, принял их за символ смерти и, решив, что сын его погиб, бросился с высокой скалы в море.



Классический мотив минойского искусства: «прыжок через быка», изображение на гемме из Крита

Могла ли эта легенда объяснить содержание рисунков? На одном из них были изображены две девушки и юноша, играющие с быком. Но действительно ли это была игра? Может быть, здесь речь шла о чем-то более серьезном? Быть может, даже о жизни и смерти? Может быть, на картине было изображено жертвоприношение Минотавру, чье имя, в свою очередь, возможно, означало «бык Миноса»?

Чем чаще обращались к легенде, тем больше возникало вопросов; однако то, что в легенде содержалось зерно истины, было неоспоримо: лабиринт лежал у всех перед глазами. Можно было принять и то предположение, что легендарная победа Тесея была слишком символическим изображением победы, одержанной прибывшим с материка завоевателем,

который разрушил дворец Миноса. Но то, что акт личной мести Миноса, потребовавшего за своего убитого сына неслыханные жертвоприношения, мог послужить причиной гибели его царства, – представлялось совершенно невероятным.

И тем не менее царство было разрушено, разрушено так внезапно и так основательно, что у нападавших не нашлось даже времени что-либо увидеть, что-нибудь услышать, чему-нибудь научиться; оно было разрушено так же основательно, как три тысячелетия спустя царство Монтесумы, которое уничтожила кучка пришлых испанцев, не оставив от него ничего, кроме руин и мертвых камней.

Проблема происхождения и гибели богатого народа, населявшего в свое время Крит, и поныне остается главной проблемой для всех археологов, для всех ученых, занимающихся древнейшим периодом античной истории.

Согласно Гомеру, остров населяли пять различных народов. Геродот утверждает, что Минос не был греком, Фукидид же свидетельствует об обратном. Эванс, который главным образом занимался именно этим вопросом, склоняется к гипотезе об африканско-ливийском происхождении населения Крита. Эдуард Майер, крупнейший знаток античной истории, пишет, что они, вероятно, пришли не из Малой Азии. Дерпфельд, старый сотрудник Шлимана, выступил в 1932 году – в возрасте восьмидесяти лет – против Эванса, утверждая, что крито-микенское искусство зародилось в Финикии.

Где та нить Ариадны, которая поможет выбраться из этого лабиринта «за» и «против»?

Такой спасительной нитью могла бы стать письменность. Из-за нее, собственно, Эванс и приехал в свое время на Крит. Уже в 1894 году он дал первое описание критских писем; он нашел бесчисленное множество идеографических надписей, а вблизи Кносса – около двух тысяч глиняных табличек со знаками линейного письма. И все же Ганс Йенсен в своем появившемся в 1935 году солидном труде «Письмо» весьма трезво заключил, что «расшифровка критской письменности еще только начинается и у нас нет пока еще никакой ясности в вопросе о том, что она собой представляла».

Столь же неясным, как происхождение народа, населявшего Крит, и его письменности, предстает конец критского царства. Смелых теорий здесь хоть отбавляй. Эванс различал три ясные стадии разрушения; дважды дворец отстраивался заново, в третий раз от него остались одни развалины.

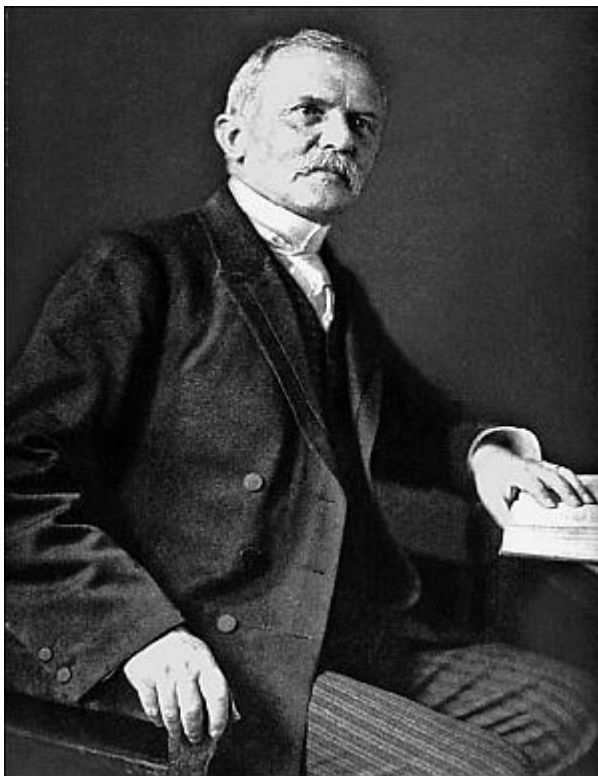
Если мы бросим ретроспективный взгляд на историю тех дней, мы увидим кочующие орды пришельцев с Севера, из Дунайских стран, а возможно, и из Южной России, которые вторгаются в пределы Греции, нападают на ее города, разрушают Микены и Тиринф. Это вторжение варварских народов все ширится и в конце концов приводит к гибели цивилизации. Немного позже мы видим новые орды, на этот раз дорийцев; они изгоняют ахейцев, но сами в еще меньшей степени, чем ахейцы, способны принести какую-нибудь культуру; и если ахейцы были грабителями, которые все награбленное обращали в свою собственность, если они все-таки были достойны упоминания в гомеровских песнях, то дорийцы были просто-напросто разбойниками, которые умели лишь разрушать; и все-таки с их приходом начинается новая глава в истории Греции.

Так обстояло дело по словам одних, а что говорят об этом другие?

Эванс считал, что разрушение минойского дворца должно было быть следствием какого-то природного катаклизма. Классический пример подобного происшествия – Помпеи. При раскопке Кносского дворца Эванс наткнулся на те же признаки внезапной и насильственной гибели и разрушения, что и д'Эльбеф и Венути у подножия Везувия: брошенные орудия труда, оставшиеся незавершенными различные изделия и произведения искусства, внезапно прерванная домашняя работа. У него сложилась своя теория, которую ему было суждено проверить на собственном опыте. 26 июня 1926 года в 21 час 45 мин Эванс, лежа в постели, читал книгу; внезапно он ощутил сильный подземный толчок. Его кровать сдвину-

лась с места, стены дома дрожали. Кругом падали какие-то предметы, из опрокинувшегося ведра лилась вода. Земля сначала вздыхала и стонала, а потом взревела так, словно ожил легендарный Минотавр. Но толчок был непродолжителен, и, когда все успокоилось, Эванс соскочил с кровати и выбежал на улицу. Он мчался к дворцу. Но, как оказалось, его реконструкции с честью выдержали экзамен: везде, где только было можно, он с самого начала употреблял стальные подпорки и балки. Однако во всех окрестных деревнях и в столице Кандли землетрясение произвело ужасные разрушения. Таковы были личные впечатления Эванса, которые подкрепили его гипотезу: он исходил из того, что Крит – один из наиболее подверженных землетрясениям районов Европы, и поэтому его гипотеза сводилась к тому, что только сильное и внезапное землетрясение, способное расколоть землю и поглотить все созданное человеком, только сильнейший подземный толчок был в состоянии до такой степени разрушить дворец Миноса, что на его месте нельзя было построить уже ничего, кроме двух-трех жалких хижин.

Вот, собственно, и все об Эвансе. Некоторые не разделяют его воззрений. Будущее внесет ясность в этот вопрос. Несомненно одно: Эванс сумел замкнуть круг, первые очертания которого фанатик Шлиман увидел в Микенах. Оба они – и Шлиман и Эванс – были первооткрывателями. Теперь дело за исследователями: они должны найти нить Ариадны. Где зажжена лампа, при свете которой трудится будущий расшифровщик критской письменности? Лампа, которая способна осветить прошлое, более трех тысяч лет остававшееся в темноте?



Вильгельм Дерпфельд (1853–1940)

Этим вопросом я в 1949 году и закончил главу. Но уже в середине 1950 года на него был получен первый ответ: Эрнст Зиттиг, профессор из Тюбингена, разрешил ту самую проблему, над которой сорок лет трудился финский ученый Сундвелл, а кроме него немец Боссерт, итальянец Мериджи, чешский ученый Грозный (он расшифровал хеттские клинописные тексты из Богазкея) и Алиса Кобер из Нью-Йорка, которая в 1948 году, разочаровавшись, объявила: «Не зная ни языка, ни письменности, эти надписи нельзя расшифровать».

Казалось, Зиттиг достиг большого успеха: ему первому удалось последовательно применить в работе над расшифровкой критских писем выработанную в ходе двух мировых войн методику дешифровки военных шифрованных сообщений – своего рода искусство или даже науку, в основе которой лежит статистически-математический метод подсчета. Для решения проблем античной филологии он расшифровал 11, а позднее 30 знаков так называемого «Критского линейного письма Б».

В середине 1953 года пришел второй ответ: англичанину Майклу Вентрису попала в руки найденная не так давно в Пилосе глиняная табличка с группой знаков, не исследованных Зиттигом. Вентрису удалось свободно прочитать ее, ибо оказалось, что текст написан по-гречески, хотя не на основе греческого алфавита. Таким образом, отпала часть толкований Зиттига и в то же время началась новая борьба, которая окончится еще не скоро¹⁶.

Античная филология находится накануне окончательного разрешения интересующей ее проблемы, однако ее разрешение ставит сразу же еще одну, гораздо более широкую проблему перед всей наукой о древности: почему, из каких побуждений на Крите – центре самостоятельной высокоразвитой культуры – за шестьсот лет до Гомера писали по-гречески местными письменами, на языке народа, который в те времена отнюдь еще не был высоко-развитым? Может быть, эти два языка существовали параллельно? А может быть, неверна вся наша древнегреческая хронология? Не возникает ли снова «Проблема Гомера»?

¹⁶ Критское линейное письмо, вернее, одна его группа – так называемое линейное письмо Б дешифровано английским ученым М. Вентрисом; его дешифровка признана всеми учеными. Эти памятники письменности относятся ко второй половине II тысячелетия до н. э. Как пилосские, так и кносские табличка линейного письма Б представляют собой памятники древнейшего греческого языка, отдаленного от времени оформления «Илиады» и «Одиссеи» примерно 700 годами. В настоящее время ученые всех стран работают над дешифровкой известных надписей линейного письма; в связи с открытием ценнейших сведений, содержащихся в письменных памятниках этого времени, пересматривается и вся история микенской Греции. См. труды советских ученых: С. Я. Лурье, Опыт чтения пилосских надписей, ВДИ, 1955, № 3; Я. А. Ленцман, Расшифровка крито-микенских надписей, ВДИ, 1955, № 9; С. Я. Лурье, Крито-микенские надписи и Гомер, ВДИ, 1956, № 4, а также обобщающую работу С. Я. Лурье, Язык и культура микенской Греции, М. – Л., 1957. Что касается высказываемых недоумений по поводу того, почему за шестьсот лет до Гомера писали по-гречески местными письменами, то этому можно найти объяснение также в статье С. Я. Лурье, который считает, что «это странное явление необходимо объяснить влиянием далеко превосходившей греческую критской культуры, у носителей которой был усвоен и ряд фонетических навыков. Язык микенских надписей – это, по-видимому, язык узкого круга городских жителей восточного и южного побережий Эллады; в крестьянстве же старый греческий язык мог сохраниться во всей его чистоте. Когда волны новых дорийских переселенцев разрушили эти города и крито-микенскую культуру, победу одержали язык деревни и язык вторгшихся переселенцев, а из этих-то языков развились позднейшие греческие диалекты».



На крито-микенском золотом кольце-печатке изображена восседающая на троне богиня, которую охраняют четыре демона в облике зверей с клювами

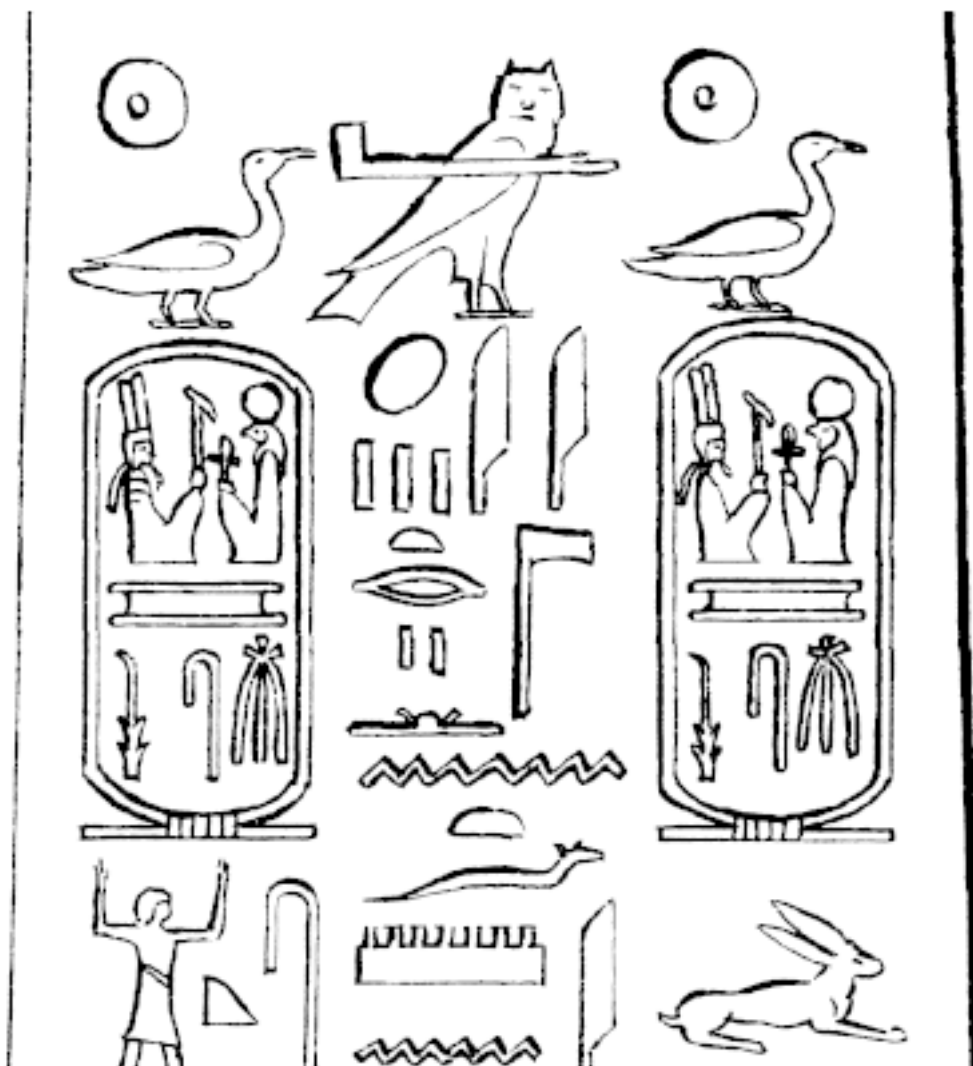
Книга Пирамид¹⁷

«Солдаты! Сорок веков смотрят на вас!»

Наполеон

*«О, Мать Нут! Расправь надо мною крыла свои, словно
извечные звезды!»*

Надпись на саркофаге фараона Тутанхамона



¹⁷ Примечания к «Книге пирамид» написаны К. С. Горбуновой.

Глава 9

Поражение оборачивается победой

У истоков археологического открытия Египта стоят Наполеон I и Виван Денон – император и барон, полководец и человек искусства. Часть пути они прошли вместе; они были хорошо знакомы, хотя были совершенно разными людьми. Оба они умели держать перо в руках, но из-под пера одного выходили приказы, декреты и своды законов, а другого – легкомысленные, безнравственные, даже порнографические новеллы и рисунки, которые принадлежат к числу «раритетов для любителей»; тот факт, что именно Денон принял участие как специалист-искусствовед в египетской экспедиции Наполеона, явился одной из тех счастливых случайностей, значение которых в полной мере выявляет лишь будущее.

17 октября 1797 года был подписан мир в Кампо-Формио. Итальянский поход окончился, и Наполеон возвратился в Париж.

«Героические дни Наполеона позади!» – писал Стендаль. Он ошибался. Героические дни только начинались. Но еще до того, как Наполеон, подобно комете, осветил, а потом опалил всю Европу, он отдался «безумному замыслу, порожденному больной фантазией». Беспокойно расхаживая из угла в угол в узкой комнатухе, пожираемый честолюбием, сравнивая себя с Великим Александром, отчаявшись в несвершенном, он писал: «Париж давит на меня так, словно на мне свинцовые одежды. Ваша Европа – это кротовая нора. Только на Востоке, где живут шестьсот миллионов человек, могут быть основаны великие империи и осуществлены великие революции». (Впрочем, высокая оценка Египта как двери на Восток значительно старше: Гете предсказал и политически верно оценил значение строительства Суэцкого канала, а еще ранее Лейбниц в 1672 году составил доклад Людовику XIV, в котором он совершенно правильно – в смысле последующего политического развития – изложил значение Египта в политике создания французской империи.)

19 мая 1798 года с флотом в триста двадцать восемь кораблей, имея на борту тридцать восемь тысяч солдат и офицеров (почти столько же, сколько было у Александра, когда он отправился на завоевание Индии), Наполеон вышел из Тулузы в открытое море. Цель: через Мальту на Египет.

План Александра! Для Наполеона Египет тоже не был самоцелью: его взгляд проникал дальше, в Индию. Поход за море был попыткой нанести Англии, неуязвимой в своем центре – Европе, смертельный удар на периферии. Нельсон, командующий английским флотом, тщетно крейсировал целый месяц в Средиземном море: дважды он был от Бонапарта чуть ли не на расстоянии пушечного выстрела и оба раза упускал его.

2 июля Наполеон вступил на египетскую землю. После изнурительного перехода по пустыне солдаты купались в Ниле, а затем перед ними возник Каир, словно видение из «Тысячи и одной ночи»: с тонкими башнями своих четырехсот минаретов, с куполом мечети Джали аль-Ашар. Но рядом с множеством изумительных по своему изяществу и филигранной орнаментике зданий, вырисовывавшихся в туманной дымке рассвета, рядом с великолепием этого утопающего в роскоши, волшебного мира ислама были видны силуэты гигантских сооружений. Расположенные напротив серо-фиолетовой стены гор Маккатама, они вздымались прямо из желтой суши пустыни; это были пирамиды Гизы, холодные, огромные, отчужденные – окаменевшая геометрия, немая вечность, свидетели того мира, который был мертв уже тогда, когда ислам еще не родился.

Солдатам было не до восхищения и удивления; перед ними лежало мертвое прошлое, Каир был волшебным будущим, а сейчас им противостояло воинственное настоящее – армия мамлюков: десять тысяч великолепно обученных всадников, танцующие от нетерпения кони, сверкающие ятаганы, и впереди – владыка Египта Мурад в окружении двадцати

трех беев, на белоснежном коне, в зеленом тюрбане, усыпанном бриллиантами. Указав на пирамиды, Наполеон воскликнул: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!». Это было не только обращение полководца к солдатам, психолога к массам – это был вызов человека Запада мировой истории.

Сражение было жестоким, и победил не фанатизм мусульман, а европейская выучка, победили европейские штыки. Бой превратился в бойню. 25 июля Бонапарт вошел в Каир. Казалось бы, половина пути в Индию уже пройдена, но 7 августа произошло морское сражение при Абукире. Нельсону удалось наконец обнаружить французский флот, и он обрушился на него, словно карающий ангел. Наполеон попал в западню. Египетская авантюра была обречена. Операция тянулась еще год; еще были победы: победа генерала Дезэ в Верхнем Египте, а в самом конце – победа Наполеона в битве у Абукира, у того самого Абукира, который оказался свидетелем разгрома и уничтожения его флота. Но еще больше этот год был знаменателен нуждой, голодом, холерой, а многим он принес и слепоту – следствие египетской глазной болезни, которая превратилась в постоянного спутника всех походов и даже получила у ученых специальное название «*Ophthalmia militaris*».

19 августа 1799 года Бонапарт бежал, бросив свою армию. А 23 августа он стоял на борту фрегата «Муиرون» и смотрел, как погружались в море берега страны фараонов. Отвернувшись, он обратил свой взор к Европе.

Последствием этой неудавшейся в военном отношении экспедиции Наполеона было политическое открытие современного Египта и научное открытие древнего. На кораблях французского флота находились не только две тысячи пушек, но и сто семьдесят пять «ученых штатских», а кроме того, библиотека с едва ли не всеми, какие только возможно было отыскать во Франции, книгами о стране на Ниле и несколько десятков ящиков с научной аппаратурой и измерительными приборами.

Весной 1798 года Наполеон впервые ознакомил ученых в большом зале заседаний «Institut de France» со своими планами. Держа в руках двухтомное «Путешествие по Аравии» Нибура, твердо постукивая по кожаному переплету указательным пальцем в подтверждение своих слов, он говорил о задачах науки в Египте. Несколько дней спустя на борту его кораблей стояли астрономы и геометры, химики и минералоги, специалисты в области техники и ориенталисты, художники и писатели. Среди них – своеобразный человек, рекомендованный Наполеону в качестве рисовальщика легкомысленной Жозефиной.



Доминик Виван Денон (1747–1825)

Его полное имя было Доминик Виван Денон. При Людовике XV он был хранителем коллекции древностей и слыл любимцем Помпадур. Будучи секретарем посольства в Петербурге, он пользовался расположением Екатерины. Светский человек, ценитель прекрасного пола, дилетант во всех областях изящных искусств, всегда полный сарказма, насмешливый и остроумный, он умел быть в дружеских отношениях со всем светом. Находясь на дипломатической службе в Швейцарии, он частенько навещал Вольтера и написал знаменитый «Завтрак в Ферне». Другой рисунок – «Молитва пастухов», исполненный в манере Рембрандта, – помог ему даже стать членом Академии. Наконец, во Флоренции, в насыщенной искусством атмосфере тосканских салонов, его настигла весть о начале Великой французской революции. Он поспешил в Париж. Еще недавно посланник, «gentilhomme ordinaire», богатый, независимый человек, он нашел свое имя в эмигрантском списке и узнал, что его поместья отобраны в казну, а состояние конфисковано.

Обедневший, одинокий, многими преданный, он влачил убогое существование, скитался по жалким углам, жил на деньги, вырученные от продажи того или иного рисунка, бродил возле рынка, видел, как на Гревской площади падали головы многих из его бывших друзей, и так до тех пор, пока не нашел неожиданного покровителя – Жака-Луи Давида, великого художника революции. Он получил возможность гравировать давидовские эскизы костюмов, те самые эскизы, которые должны были революционизировать и моду. Этим он завоевал расположение «Неподкупного»; едва вступив на паркет после грязи Монмартра, по которой ему пришлось бродить, он, найдя применение своему дипломатическому таланту, получил от Робеспьера обратно свои имения, был вычеркнут из эмигрантского списка. Он познакомился с красавицей Жозефиной де Богарнэ, был представлен Наполеону, понравился ему и таким образом стал участником египетского похода.

Вернувшись из страны на Ниле, теперь уже испытанный, признанный, пользующийся всеобщим уважением, он был назначен генеральным директором всех музеев. Следуя по пятам за Наполеоном, победителем на полях сражений всей Европы, он «организовывал» художественные трофеи (называя это «собираaniem») и в результате положил основание

одной из величайших коллекций Франции. Коль скоро его дилетантские занятия живописью и рисованием принесли ему такой большой успех, он имел все основания надеяться добиться не меньшего успеха и на литературном поприще. Невозможно, доказывали в одном обществе, написать настоящую любовную историю, сохраняя благопристойность. Денон заключил пари и через двадцать четыре часа положил на стол «*Le Point de lendemain*» – новеллу, которая завоевала ему особое место в литературе, которая известна среди знатоков как наиболее деликатная в своем жанре и о которой Бальзак сказал: «...Это великолепное руководство для мужей, а для людей холостых – бесценная картина нравов последнего столетия».

Ему принадлежит также и «*Oeuvre Priapique*» – впервые появившийся в 1793 году сборник гравюр, который содержит в себе все, что обещает заглавие, и в своей фаллической ясности не оставляет желать ничего лучшего. Любопытно, что публицисты-археологи, основательно занимавшиеся Деноном, кажется, даже не подозревали об этой стороне его деятельности. Не менее забавно и то, что такой добросовестный историк культуры, как Эдуард Фуке, посвятивший как исследователь нравов Денону-порнографу целый раздел своей книги, в свою очередь, кажется, ничего не знал о той важной роли, которую сыграл Денон в годы становления египтологии.

Между тем этот разносторонний, во многих отношениях удивительный человек совершил дело, о котором нельзя забыть. Если Наполеон, завоевав Египет с помощью оружия, все-таки не смог удержать его в своих руках более года, то Денон, завоевав страну фараонов с помощью карандаша, сохранил ее для вечности и открыл ее нашему сознанию.

Когда он, до этого лишь салонный завсегдатай, впервые ступил на египетскую землю, почувствовал знойное дыхание пустыни, увидел, полуослепленный, бесконечную рябь песков, он, должно быть, пришел в восторженное состояние, которое уже не покидало его: огромные руины доносили до него, казалось, дыхание пяти ушедших в прошлое тысячелетий.

Его прикомандировали к Дезэ, который вместе со своей армией устремился по следам предводителя мамлюков Мурада в Верхний Египет. И, несмотря на то что ему уже шел пятьдесят второй год, а генерал, выдававший ему расположение, годился по возрасту ему в сыновья, Денон не считался ни с лишениями, ни с трудностями, связанными с климатом, вызывая восторг и удивление солдат, многие из которых были еще совсем юными. Его можно было видеть и скачущим во весь опор на своей заморенной лошаденке в авангарде, и задумчиво плетущимся в хвосте обоза. Рассвет уже не заставлял его в палатке. Он рисует и на остановках, и на марше, он не расстаётся со своей папкой даже во время скудного обеда. «Тревога!» Он ввязывается в перестрелку, воодушевляет солдат, размахивая своей папкой... Вдруг какая-то сцена привлекает его внимание, и он забывает обо всем на свете, забывает, где находится, – он рисует...

Потом он стоит перед иероглифами: он ничего о них не знает, и нет никого рядом, кто мог бы удовлетворить его любознательность. Он срисовывает их на всякий случай и, не будучи специалистом, все же правильно подмечает самое главное, самое важное, различая три вида иероглифов – «углубленные», «выпуклые» и «en saux», – и приходит к правильному заключению, что они относятся к разным эпохам. В Саккаре он делает рисунок ступенчатой пирамиды, в Дендере – грандиозных руин строений эпохи Нового царства; он без устали носится по развалинам Стоватных Фив и впадает в отчаяние, если приказ о выступлении приходит раньше, чем он успевает запечатлеть в своих рисунках все, что предстает перед его глазами. Бранясь, он сгоняет тогда двух-трех слоняющихся без дела солдат, и они еще успевают в спешке, второпях очистить от песка голову статуи, привлечшую его внимание.

Авантюристический поход продолжается. Войска доходят до Ассуана, до Первого порога. В Элефантине Денон зарисовывает очаровательный, окруженный колоннами,

небольшой храм Аменхотепа III, и этот отличный рисунок останется единственным изображением храма, ибо в 1822 году он будет разрушен. И когда войска поворачивают назад, направляясь домой (победа под Седиманом одержана: Мурад-бей разбит наголову), барон Доминик Виван Денон увозит в своих бесчисленных папках добычу более ценную, чем трофеи, которыми поживились солдаты, захватившие украшения мамлюков, ибо, как бы ни воспламенялось его художественное воображение в чужих краях, от этого никогда не страдала точность его рисунков. Он придерживался в своих работах того вполне применимого и к научным целям реализма, который характеризовал произведения старых мастеров и гравиров на меди, не пренебрегавших ни одной деталью; не имея ни малейшего понятия ни об импрессионизме, ни об экспрессионизме, они позволяли называть себя ремесленниками и не воспринимали это как уничижительную кличку. Поэтому его рисунки стали драгоценнейшим материалом для научных исследований и изысканий. И в основном на его материалах был написан труд, который положил начало египтологии, – «Описание Египта» («Description de l’Egypte»).

Тем временем в Каире был основан Египетский институт. Пока Денон занимался своими рисунками, остальные ученые и художники обмеривали и считали, изучали и собирали то, что они нашли на поверхности. Материал, никем еще не обработанный и загадочный, лежал прямо сверху и был так богат, что не было никакой необходимости браться за лопату. Кроме отливок, записей, копий, рисунков, различных образцов флоры и фауны, минералов, в это собрание попали двадцать семь скульптур, в большинстве разбитых, и несколько саркофагов. Была здесь и находка совершенно особого рода: черная отполированная базальтовая стела – камень с высеченной тремя различными письменами надписью на трех разных языках; этот камень получил широкую известность как «Трехязычный камень из Розетты»¹⁸ и ему было суждено стать ключом ко всем тайнам Египта.

Но после капитуляции Александрии в сентябре 1801 года Франции пришлось, как она ни противилась этому, передать Англии захваченные египетские древности. Генерал Хатчинсон доставил транспорт, и Георг III передал драгоценные обломки, являвшиеся в те времена необычайной редкостью, в Британский музей. Казалось, усилия Франции остались втуне, год работы потрачен бессмысленно, а те ученые, которые стали жертвой египетской болезни, совершенно напрасно лишились зрения. И вдруг выяснилось, что и того, что доставлено в Париж, с избытком хватит на целое поколение ученых: оказалось, что со всего материала сняты копии. Первым, кто зримо и основательно изложил результаты египетской экспедиции, был Денон, который в 1802 году опубликовал свое «Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту» («Voyage dans la Haute et la Basse Egypte»). Одновременно Франсуа Жомар, опираясь на материалы научной комиссии, и прежде всего на материалы Денона, приступает к составлению того труда, которому было суждено единственный раз в истории археологии ввести сразу в современный мир совершенно неведомую до тех пор цивилизацию, хотя, правда, и не полностью исчезнувшую, как, например, Троянская, но по меньшей мере столь же древнюю, да и не менее загадочную, о существовании которой было до того дня известно лишь некоторым путешественникам.

«Описание Египта» выходило в свет на протяжении четырех лет, в 1809 – 1813 годах. Впечатление, которое произвели эти 24 увесистых тома, было колоссальным; его можно сравнить разве только с сенсацией, вызванной впоследствии первой публикацией Ботта о Ниневи, а еще позднее книгой Шлимана о Трое. В наш век всеобщего распространения ротационных машин трудно себе представить, какое значение имели великолепные содер-

¹⁸ Розеттский камень не является трехязычным: текст на нем написан на двух языках – египетском и греческом. Египетский текст написан дважды: иероглифами и демотикой, которая представляет собой сокращенную скоропись эпохи позднего Египта.

жательные издания тех времен с бесчисленными, нередко красочными гравюрами, в роскошных переплетах, доступные лишь зажиточным людям, которые бережно хранили их, видя в них сокровищницы знания. Ныне, когда любое ценное научное открытие мгновенно становится достоянием всего света, распространяясь и размножаясь в гигантских масштабах посредством фотографии, печати, кино, радио, сталкиваясь с другими публикациями – одна крикливее другой, – которые каждый может приобрести и тут же забыть о них, ибо его внимание всецело поглотит очередная новинка, ныне, когда ничто уже не хранится столь бережно, когда ценное и значительное подчас теряется среди макулатуры, – можно лишь с большим трудом представить себе, какое волнение охватывало людей, когда они получали впервые тома «Описания» и видели никогда не виданное, читали о никогда не слышанном, узнавали о жизни, о былом существовании которой они до сих пор и не подозревали. Заглянув в глубь прошедших веков, они приходили в еще более благоговейное волнение, чем мы, ибо культура Египта была значительно более древней, чем любая известная в те времена, а сам Египет был стар уже тогда, когда первые собрания на Капитолии положили основание политике Римской державы. Он был древен и занесен песками уже в те времена, когда германцы и кельты охотились в лесах Северной Европы на медведей. Его замечательная культура существовала уже тогда, когда еще только начинала править первая египетская династия, – с этого времени можно говорить о начале достоверной истории Египта; а когда вымерла двадцать шестая династия, до начала нашей эры оставалось еще полтысячелетия. Еще должны были пройти времена господства Ливии, Эфиопии, Ассирии, Персии, Греции, Рима, и лишь тогда взойшла звезда над Вифлеемом. Разумеется, существование каменных чудес на берегах Нила не было тайной, но сведения о них носили полулегендарный характер и были явно недостаточны. Лишь немногие памятники попали в музеи, лишь немногие были доступны широкому обозрению. Римский турист мог любоваться львами на лестнице Капитолия (ныне они исчезли), статуями царей династии Птолемеев, то есть произведениями, относящимися к весьма поздней эпохе и изготовленными в те времена, когда блеск Древнего Египта уже померк, когда ему на смену пришел Александрийский эллинизм; кроме этого, были известны несколько обелисков (в Риме их было двенадцать), несколько рельефов в садах кардиналов и скарабей – изображения навозного жука, которого египтяне считали священным. Загадочные знаки на брюшке жука были причиной того, что скарабей распространился в Европе как амулеты, а в более позднее время стали использоваться как украшения и печати.

Это было все.

Свидетельство «Объединения обеих царств»: так называемая палетка Нармера показывает правителя, одерживающего победу над одним из «папирусных людей» из дельты Нила (около 3050 г. до н. э.)



Очень немногое могли предложить и парижские книготорговцы: книги, в которых затрагивались проблемы Древнего Египта, можно было буквально пересчитать по пальцам. Правда, в 1805 году появилось большое, пятитомное издание Страбона – великолепный перевод его географических работ (Страбон объездил Египет во времена Августа), и, таким образом, то, что до сих пор было доступно лишь специалистам-ученым, стало всеобщим достоянием. Много ценных научных сведений содержалось и во второй книге Геродота, этого удивительного путешественника древности. Но кто читал сочинения Геродота и кто помнил все остальные, разрозненные сведения античных авторов, содержащиеся в самых различных сочинениях?

Ранним утром солнце поднимается на голубовато-стальном небе – сначала желтое, затем ослепительно яркое, потом увядающее; оно движется по небосводу, отражаясь в коричневом, желтом, желтовато-коричневом, белом песке. Словно врезанные в песок, лежат глубокие тени – темные силуэты изредка встречающихся здесь строений, деревьев, кустов.

Сквозь эту вечно залитую солнцем, незнающую «непогоды» пустыню (здесь не бывает ни дождя, ни снега, ни тумана, ни града) – пустыню, которая никогда не слышала раскатов грома и никогда не видела блеска молнии, где воздух сухой, стерильный, консервирующий, а земля бесплодная, крупитчатая, ломкая, крошащаяся, катит свои волны отец всех потоков, «Отец всемогущий, Нил». Он берет начало в глубинах страны и, вспоенный озерами и дождями в темном, влажном тропическом Судане, набухает, заливают все берега, затопляет пески, поглощает пустыню и разбрасывает ил – плодородный нильский ил; каждый год на протяжении тысячелетий он поднимается на шестнадцать локтей¹⁹ – шестнадцать детей резвятся около речного бога в символической мраморной группе Нила в Ватикане, – а затем медленно вновь возвращается в свое русло, сытый и умиротворенный, поглотив не только пустыню, но и сушь земли, сушь песка. Там, где стояли его коричневые воды, появляются всходы, произрастают злаки, давая необыкновенно обильные урожаи, принося «жирные»

¹⁹ Локоть – древнеегипетская мера длины; равен 52 см.

годы, которые могут прокормить «тощие». Так каждый год вновь возрождается Египет, «дар Нила», как его еще две с половиной тысячи лет назад назвал Геродот, «житница» Древнего мира, которая заставляла Рим голодать, если в тот или иной год вода стояла слишком низко или, наоборот, прилив был слишком высок.

Там, на этой местности с ее сверкающими куполами и хрупкими минаретами, в городах, переполненных людьми с различным цветом кожи, принадлежащими к сотням различных племен и народов, – арабами, нубийцами, берберами, коптами, неграми, – в городах, где звучат тысячи разных говоров, возвышались, словно вестники другого мира, развалины храмов, гробниц, остатки колонн и дворцовых залов. Там вздымались ввысь пирамиды (шестьдесят семь пирамид насчитывается на одном лишь поле близ Каира!), выстроившиеся в сожженной солнцем пустыне на «учебном плацу солнца», – чудовищные склепы царей; на сооружение лишь одного из них ушло два с половиной миллиона каменных плит, сто тысяч рабов на протяжении долгих двадцати лет воздвигали его.

Там разлегся один из сфинксов – получеловек, полузверь с остатками львиной гривы и дырами на месте носа и глаз: в свое время солдаты Наполеона избрали его голову в качестве мишени для своих пушек; он отдыхает вот уже многие тысячелетия и готов пролежать еще многие; он так огромен, что какой-нибудь из Тутмосов, мечтая получить за это трон, мог бы соорудить храм между его лап.

Там стояли тонкие, как иглы, обелиски – часовые храмов, пальцы пустыни, воздвигнутые в честь царей и богов; высота многих из них достигала 28 метров. Там были храмы в гротах и храмы в пещерах, бесчисленные статуи – и деревенских старост²⁰ и фараонов, саркофаги, колонны, пилоны, всевозможные скульптуры, рельефы и росписи... И все на этом грандиознейшем из существующих на свете кладбищ было испещрено иероглифами – таинственными, загадочными знаками, рисунками, контурами, символическими изображениями людей, зверей, легендарных существ, растений, плодов, различных орудий, утвари, одежды, оружия, геометрическими фигурами, волнистыми линиями и изображениями пламени. Они были выполнены на дереве, на камне, на бесчисленных папирусах, их можно было встретить на стенах храмов, в камерах гробниц, на заупокойных плитах, на саркофагах, на стенах, статуях божеств, ларцах и сосудах; даже письменные приборы и трости были испещрены иероглифами. «Тот, кто пожелал бы скопировать надписи на храме в Эдфу, даже если бы трудился с утра до вечера, не управился бы с этим и в двадцать лет».

Таким был мир, открывшийся в «Описаниях» изумленной Европе, той самой ищущей Европе, которая занялась исследованием прошлого, которая по настоянию Каролины, сестры Наполеона, с новым рвением принялась за раскопки в Помпеях и чьи ученые, восприняв у Винкельмана методику археологических исследований и толкования находок, горели желанием проверить эти методы на практике.

Однако после стольких похвал в адрес «Описания Египта» нужно сделать одну оговорку: представленный в нем материал – описания, рисунки, копии – был, несомненно, доброкачественным, но там, где речь шла о Древнем Египте, авторы ограничивались лишь регистрацией. В большинстве случаев они ничего не объясняли, да они и не в состоянии были это сделать; там же, где они все-таки пытались что-то объяснить, их объяснения были неверными.

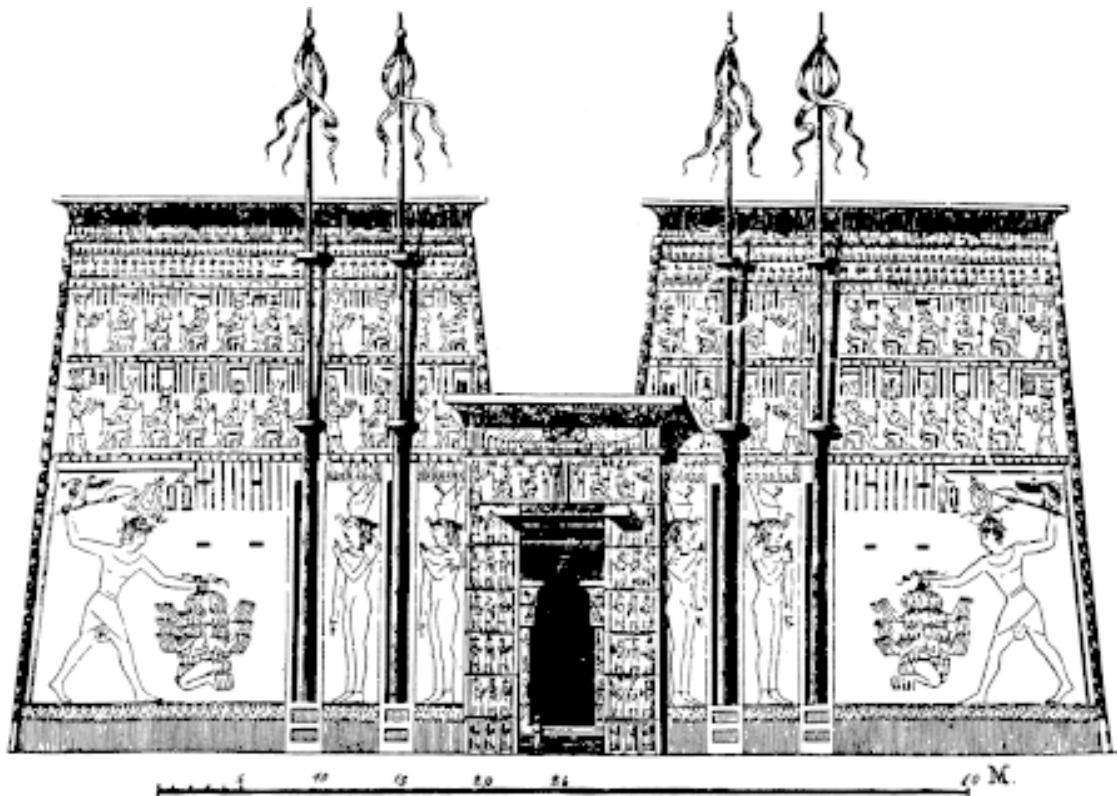
Представленные ими памятники оставались немymi; попытка их систематизации была искусственной: в ее основе лежало не знание, а интуиция. Непонятными оставались иероглифы, неясными – знаки, чужим – язык.

²⁰ Существует только одна статуя, которую называют «Деревенский староста». Она изображает вельможу Кааиера (Древнее царство) и прозвана так потому, что показалась рабочим-феллахам похожей на их деревенского старосту. Хранится эта статуя в Каирском музее.

«Описание Египта» открыло совершенно новый мир, но этот новый мир в своих связях и отношениях, по своему устройству и по своей роли в Древнем мире был неразрешенной загадкой.

Как много нового можно было бы узнать, если бы только удалось расшифровать иероглифы!

Но возможно ли это?



Реконструкция фасада храма Гора в Эдфу (Бехдет)

Де Саси, крупнейший парижский ориенталист, объявил: «Проблема слишком запутана и научно неразрешима». Но, с другой стороны, разве скромный учитель из Геттингена по фамилии Гротенфенд не опубликовал исследование, которое указало путь к расшифровке клинописи Персеполя, и разве он не поделился в этом исследовании первыми результатами своей дешифровки? А ведь в распоряжении Гротенфенда был весьма незначительный материал, здесь же бесчисленное множество иероглифических надписей лежало, так сказать, на поверхности и было доступно всем.

А разве один из солдат Наполеона не обнаружил странную плиту из черного базальта, о которой журнал, поместивший сообщение о ней, писал, что благодаря этой счастливой находке мы имеем ключ к расшифровке иероглифов? Впоследствии это мнение было подтверждено всеми учеными, которым удалось ее увидеть.

Где тот исследователь, который сумеет использовать эту плиту?

Вскоре после того, как был найден Розеттский камень, журнал «*Courier de l’Egypte*» поместил об этом сообщение. Оно было напечатано в номере от 29 фрюктидора, VII года революции, со ссылкой: «Розетта, 2 фрюктидора, VII года». И надо же было, чтобы благодаря счастливой случайности этот номер издававшегося в Египте журнала попал в дом отца того человека, который двадцать лет спустя, проделав поистине гениальную, беспрецедентную работу, сумел прочесть надпись на черном камне и тем самым разрешил загадку иероглифов!



Перо на голове – опознавательный знак богини Маат, олицетворявшей принцип порядка и гармонии, справедливости и культуры

Глава 10

Шампольон и трехязычный камень

Когда знаменитый френолог Галль, популяризируя свою теорию, разъезжал по городам и весям, вызывая восхищение и благоговение одних, подвергаясь брани и насмешкам со стороны других, ему как-то в Париже представили в одном обществе совсем юного студента. Едва успев бросить взгляд на череп этого студента, Галль воскликнул: «Ах, какой гениальный лингвист!». Шестнадцатилетний студент, которого представили Галлю, – прославленный череповед, разумеется, не мог об этом знать (хотя, может быть, вся эта история была обычным шарлатанским трюком?) – владел в то время, не считая латыни и греческого, по меньшей мере полудюжиной восточных языков.

В XIX веке укоренилась странная манера написания биографий. Авторы, составители этих биографий, рьяно выискивали и сообщали своим читателям факты, подобные, например, тому, что трехлетний Декарт, увидев бюст Эвклида, воскликнул: «А!»; или же старательнейшим образом собирали и изучали гетевские счета за стирку белья, пытаясь и в группировке жабо и манжет увидеть признаки гения.

Первый пример свидетельствует лишь о грубом методическом просчете, второй – просто нелепость, но и то и другое – источник анекдотов, а что, собственно говоря, можно возразить против анекдотов? Ведь даже история о трехлетнем Декарте достойна сентиментального рассказа, если, разумеется, не рассчитывать на тех, кто все двадцать четыре часа в сутки пребывает в абсолютно серьезном настроении. Итак, откинем сомнения и расскажем об удивительном рождении Шампольона.

В середине 1790 года Жак Шампольон, книготорговец в маленьком местечке Фижак во Франции, позвал к своей полностью парализованной жене – все доктора оказались бессильными – местного «колдуна», некоего Жаку.

Фижак расположен в Дофинэ, на юго-востоке Франции, в «провинции семи чудес», одной из самых красивых в этой стране, где, как известно, обитает сам Господь Бог, в провинции, населенной людьми жесткого консервативного склада, которых нелегко вывести из состояния летаргии (хотя однажды они оказались способны на проявление невероятного фанатизма); при всем том они строгие католики и легко верят всему мистически-волшебному.

Колдун приказал положить больную на разогретые травы (и этот факт и все последующие подтверждены несколькими свидетелями), заставил ее выпить горячего вина и, объявив, что она скоро выздоровеет, предсказал ей – это более всего потрясло все семейство – рождение мальчика, который со временем завоюет немеркнущую славу. На третий день больная встала на ноги. 23 декабря 1790 года в два часа утра у нее родился сын – Жан Франсуа Шампольон, – человек, которому удалось расшифровать египетские иероглифы²¹ Так сбылись оба предсказания.

Если верно, что дети, зачатые дьяволом, рождаются с копытцами, то нет ничего удивительного в том, что вмешательство колдунов приводит к не менее заметным результатам. Врач, осматривавший юного Франсуа, с большим удивлением констатировал, что у него желтая роговая оболочка глаз – особенность, присущая жителям Востока, но крайне редкая для европейцев. Более того, у мальчика был необычайно темный, почти коричневый цвет кожи и восточный тип лица. Двадцать лет спустя его везде называли «египтянином».

²¹ Обстоятельное научное объяснение того, как Шампольон прочел египетские иероглифы, а также описание всего того, что было сделано его предшественниками, можно найти во вступительной статье И. Г. Лифшица «Расшифровка египетских иероглифов Шампольоном» к книге: Ж. Ф. Шампольон, О египетском иероглифическом алфавите, М., АН СССР, 1950.



Жан Франсуа Шампольон (1790–1832)

Он был сыном революции. В сентябре 1792 года в Фижаке была провозглашена республика. С апреля 1793 года начался период «великого страха». Дом Шампольона-отца стоял в тридцати шагах от «Place d'armes» («Площади оружия», впоследствии названной именем Шампольона), на которой было посажено Дерево Свободы. Первое, что Франсуа услышал уже вполне сознательно, был плач тех, кто искал в доме его отца убежища от разбушевавшейся черни. Среди них был и священник, который стал его первым учителем.

«Пяти лет от роду, – отмечает один растроганный биограф, – он осуществил свою первую расшифровку: сравнивая выученное наизусть с напечатанным, он сам научился читать». В семь лет он впервые услышал волшебное слово «Египет» «в связи с обманчивым блеском фатаморганы» – предполагавшимся, но не осуществившимся планом участия его брата Жака-Жозефа, который был старше Франсуа на 12 лет, в египетской экспедиции Наполеона.

В Фижаке он учился, по словам очевидцев, плохо. Из-за этого в 1801 году его брат, одаренный филолог, очень интересовавшийся археологией, увозит мальчика к себе в Гренобль и берет на себя заботу о его воспитании.

Когда вскоре одиннадцатилетний Франсуа проявляет удивительные познания в латинском и греческом языках и делает поразительные успехи в изучении древнееврейского, его брат, также человек блестящих способностей, как бы предчувствуя, что младший когда-либо прославит фамильное имя, решает впредь скромно именоваться Шампольоном-Фижак; впоследствии его называли просто Фижак.

В том же году с юным Франсуа беседовал Фурье. Знаменитый физик и математик Жозеф Фурье участвовал в египетском походе, был секретарем Египетского института в Каире, французским комиссаром при египетском правительстве, начальником судебного ведомства и душой Научной комиссии. Теперь он был префектом департамента Изеры и жил в Гренобле, собрав вокруг себя лучшие умы города. Во время одной из инспекций школ он

вступил в спор с Франсуа, запомнил его, пригласил к себе и показал ему свою египетскую коллекцию.

Смуглолицый мальчик, словно зачарованный, смотрит на папирусы, рассматривает первые иероглифы на каменных плитах. «Можно это прочесть?» – спрашивает он. Фурье отрицательно качает головой. «Я это прочту, – уверенно говорит маленький Шампольон (впоследствии он будет часто рассказывать эту историю), – я прочту это, когда вырасту!»

Не напоминает ли это о другом мальчике, который однажды так же убежденно и с той же маниакальной уверенностью сказал своему отцу: «Я найду Трою!». Но какими различными путями шли они к осуществлению своих детских мечтаний! Как различны были их методы! Шлиман был самоучкой чистейшей воды, Шампольон ни на шаг не отклонился от намеченного пути в овладении науками (кстати, он прошел этот путь настолько быстро, что обогнал всех товарищей по учебе). Шлиман начинал свои исследования, не имея никакой специальной подготовки. Шампольон – во всеоружии научных знаний своего века. О его образовании заботился брат. Он пытался сдерживать невероятную жажду знания, обуравшую мальчика. Тщетно! Шампольона интересовали самые отдаленные вопросы, и он протаптывал тропинки ко всем Монбланам наук. В двенадцать лет он опубликовал свою первую книгу, название которой говорит само за себя: «История знаменитых собак». Отсутствие систематического исторического обзора мешало ему в занятиях, и он сам составил хронологическую таблицу, озаглавив ее «Хронология от Адама до Шампольона-младшего». (Старший брат отказался от своей фамилии, предчувствуя, кому из двух братьев суждено отбрасывать большую тень. Шампольон, называя себя младшим, намекал таким образом на существование Шампольона-старшего.)

В тринадцать лет он начинает изучать арабский, сирийский, халдейский, а затем и коптский язык²² Заметим: все, что бы он ни изучал, все, что бы ни делал, чем бы ни занимался, в конечном итоге связано с проблемами египтологии. Он изучает древнекитайский только для того, чтобы попытаться доказать родство этого языка с древнеегипетским. Он изучает тексты, написанные на древнеперсидском, пехлевийском, персидском – отдаленнейшие языки, отдаленнейший материал, который только благодаря Фурье попал в Гренобль, собирает все, что только может собрать, и летом 1807 года, семнадцати лет от роду, составляет первую географическую карту Древнего Египта, первую карту времен царствования фараонов. Смелость этого труда можно оценить по достоинству, лишь зная, что в распоряжении Шампольона не было (да и не могло в то время быть) никаких источников, кроме Библии да отдельных латинских, арабских и еврейских текстов, большей частью фрагментарных и искаженных, которые он сравнивал с коптскими, ибо это был единственный язык, могущий послужить своего рода мостиком к языку Древнего Египта и известный потому, что в Верхнем Египте на нем изъяснялись вплоть до XVII века.

Одновременно он собирает материал для книги и принимает решение переехать в Париж, но гренобльская Академия желает получить от него заключительный труд. Господа академики имели при этом в виду обычную чисто формальную речь, Шампольон же представляет целую книгу – «Египет при фараонах» («L’Egypte sous les Pharaons»).

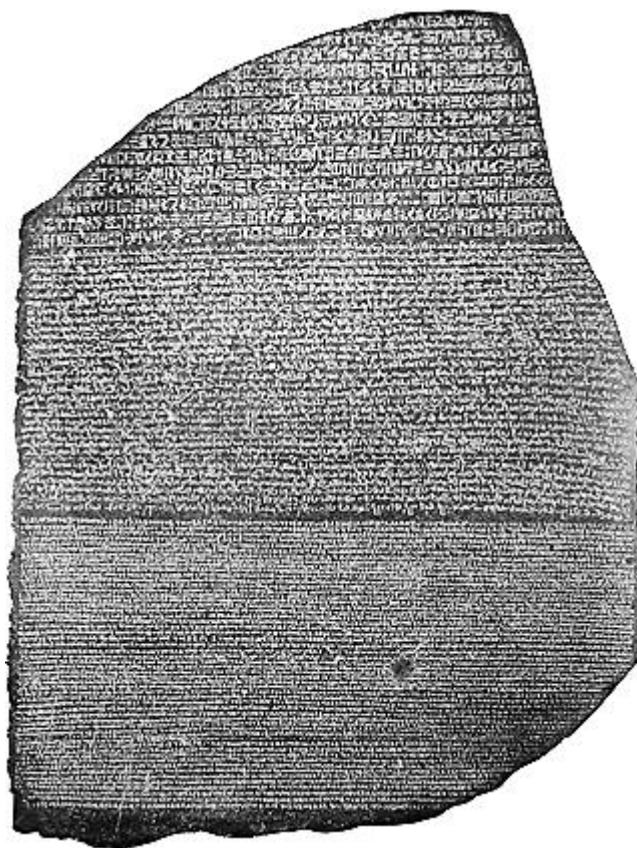
1 сентября 1807 года он зачитывает введение. Стройный, высокий юноша, болезненно-красивый, как все рано созревшие люди, – таким он предстал перед Академией. То, что он сообщает, сформулировано в смелых тезисах и излагается с покоряющей силой логики. Результат необычаен! Семнадцатилетнего юношу единогласно избирают членом Академии. Ренольдон, президент Академии, поднимается и заключает его в объятия: «Если Академия, несмотря на вашу молодость, избирает вас своим членом, она тем самым отдает

²² Коптами стали называть египтян-христиан после завоевания Египта Византией. До нас дошло большое количество памятников литературы, главным образом религиозного содержания, написанной на коптском языке греческим алфавитом.

дань вашим заслугам, тому, что вы уже свершили. Но в еще большей степени она рассчитывает на то, что вам еще суждено свершить. Она убеждена, что вы оправдаете возлагаемые на вас надежды, и в тот день, когда вы своими трудами создадите себе имя, вспомните, что первое поощрение вы получили от нее». За одни сутки вчерашний школяр превратился в академика.

Выйдя из здания школы, он теряет сознание. Он вообще страдает в это время повышенной чувствительностью; типичный сангвиник, но в основном элегического склада, он был не только необычайно развит духовно – многие уже открыто называли его гением, – но и не по годам развит физически. (Когда он, едва покинув школьную скамью, решил жениться, им руководило нечто большее, чем первое увлечение школьника.)

Он знает: впереди новый этап жизни. И перед его внутренним взором возникает огромный город, центр Европы, средоточие духовной, политической и культурной жизни. Когда после семидесятичасовой тряски тяжелый возок, в котором он вместе с братом совершает это путешествие, наконец приближается к Парижу, он успевает уже многое передумать, не раз переходя от грез к действительности; он видит пожелтевшие от времени папирусы, в его ушах звучат слова на добром десятке языков, ему видятся камни, испещренные иероглифами, а среди них – таинственный камень из черного базальта, тот самый камень из Розетты, копию которого он впервые увидел незадолго до отъезда при прощании с Фурье; надпись на этом камне буквально преследует его. Внезапно он наклоняется к брату и – это не вымысел – говорит вслух о том, о чем постоянно думает, на что всегда надеялся и в чем сейчас вдруг обрел уверенность: «Я расшифрую их, – говорит он, – я расшифрую эти иероглифы, я уверен в этом».



Розеттский камень с текстом на древнеегипетском и греческом языках

Утверждают, что Розеттский камень нашел некий Дотпуль. Однако на самом деле Дотпуль, командовавший инженерными отрядами, был всего лишь начальником того чело-

века, который его нашел. Другие источники называют Бушара, но Бушар был всего-навсего офицером, который руководил работами по укреплению разрушенного порта Рашида, находившегося в семи с половиной километрах к северо-западу от Розетты, на Ниле, и получившего уже в те времена наименование порта Жюльена. Позднее Бушар возглавил работы по перевозке камня в Каир.

На самом же деле Розеттский камень нашел неизвестный солдат. Мы никогда не узнаем, был ли он человеком образованным и потому сумел сразу же, как только его кирка наткнулась на камень, оценить все значение своей находки или же он был малограмотным парнем и закричал при виде этой покрытой таинственными письменами плиты от испуга, опасаясь действия ее волшебных чар.

Неожиданно обнаруженная на развалинах крепости, плита эта, величиной с доску стола, была из мелкозернистого, чрезвычайно твердого черного базальта; с одной стороны она была отполирована. На ней были видны три надписи, три колонки знаков, полустертых в результате выветривания и под воздействием миллионов песчинок, царапавших в течение тысячелетий поверхность камня. Из трех надписей первая, в четырнадцать строк, была иероглифической, вторая, в тридцать две строки, – демотической и третья, в пятьдесят четыре строки, была написана по-гречески.

По-гречески! Следовательно, ее можно прочесть, следовательно, ее можно понять!

Один из наполеоновских генералов, страстный любитель-эллинист, тотчас приступает к переводу. Это, констатирует он, постановление верховных жрецов Мемфиса, относящееся к 196 году до н. э., о восхвалении Птолемея V Эпифана за его пожертвования.

Вместе со всеми остальными трофеями французов плита попала после капитуляции Александрии в Британский музей в Лондоне. Но Египетской комиссии удалось своевременно снять с нее, как, впрочем, и с других находок, слепки и изготовить отливки. Эти отливки были доставлены в Париж, и ученые занялись изучением и сличением их, в первую очередь сличением, ибо что могло быть важнее заключения об аутентичности текстов – именно эта мысль прежде всего приходила в голову. Впрочем, об этом в свое время еще писал журнал «*Courier de l’Egypte*»; еще здесь доказывалось, что найденная плита является ключом к воротам исчезнувшего царства, что благодаря этой плите появилась возможность «объяснить Египет с помощью самих египтян». Вряд ли после перевода греческой надписи будет представлять большую трудность определение того, какие иероглифы соответствуют тем или иным греческим словам, понятиям и именам. И тем не менее лучшие умы того времени оказались не в состоянии справиться с этой задачей. Над ней ломали головы ученые не только во Франции, но и в Англии, где находился сам камень, в Германии, в Италии. Но их усилия были тщетными, ибо все они, без исключения, исходили из ложных предпосылок, все они, без исключения, жили теми представлениями об иероглифах, которые частично восходили еще к Геродоту, и эти представления с присущим им (как и многим другим ошибочным представлениям в области духовной жизни человечества) поистине чудовищным упорством затуманивали ученых головы.

Для того чтобы разгадать тайну иероглифов, нужен был чуть ли не коперникианский поворот, нужно было наитие провидца, смело рвущего с привычными, традиционными представлениями, способного, словно молния, озарить тьму.

Когда семнадцатилетний Шампольон был представлен братом своему будущему учителю Сильвестру де Саси – маленькому, незаметному и, однако, широко известному за рубежами Франции человеку, – он не испытал ни смущения, ни робости и так же, как когда-то при встрече с Фурье, очаровал своего собеседника.

Де Саси был недоверчив. Будучи в свои сорок девять лет во всеоружии науки того времени, он вдруг увидел перед собой юношу, который с невероятной смелостью приступил в своей книге «Египет при фараонах» к осуществлению того самого плана, о котором он, де

Саси, заявил, что время для его свершения еще не настало. О чем же он находит нужным сказать в своих воспоминаниях? Умудренный жизнью человек, он пишет о «глубоком впечатлении», которое произвела на него эта встреча! Удивляться здесь нечему. Книга – де Саси видел тогда только введение к ней – уже через год была почти полностью готова. Таким образом, де Саси уже признает за семнадцатилетним Шампольоном те заслуги, которые все остальные признали лишь семь лет спустя.

Шампольон с головой уходит в учебу. Презрев все соблазны парижской жизни, он зарывается в библиотеки, бежит из института в институт, выполняет тысячу и одно поручение гренобльских ученых, буквально засыпавших его письмами, изучает санскрит, арабский и персидский – «итальянский язык Востока», как называет его де Саси, – а между делом еще просит в письме к брату прислать ему китайскую грамматику: «Для того чтобы рассеяться».

Он так проникается духом арабского языка, что у него даже меняется голос, и в одной компании какой-то араб, приняв его за соотечественника, раскланивается с ним и обращается к нему с приветствием на своем родном языке. Его познания о Египте, которые он приобрел только лишь благодаря своим занятиям, настолько глубоки, что поражают известнейшего в то время путешественника по Африке Сомини де Маненкура; после одной из бесед с Шампольоном он удивленно воскликнул: «Он знает те страны, о которых у нас шел разговор, так же хорошо, как я сам». Спустя всего лишь год он настолько хорошо овладел коптским языком («Я говорю сам с собой по-коптски...») и демотическим письмом, что практики ради транскрибировал демотическими знаками ряд коптских текстов. А через сорок лет (надо же было случиться такой невероятной истории!) некий незадачливый ученый опубликовал один из этих текстов как египетский документ времен императора Антонина, снабдив его своими глубокомысленными комментариями... – вот французский вариант истории Берингера и его книги об окаменелостях.

При всем том ему приходится туго, отчаянно туго. Если бы не брат, который самоотверженно поддерживал его, он бы умер с голоду. Он снимает за 18 франков жалкую лачугу неподалеку от Лувра, но очень скоро становится должником и обращается к брату, умоляя его помочь; в отчаянии, что не может свести концы с концами, он приходит в полнейшее замешательство, когда получает ответное письмо, в котором Фижак сообщает, что ему придется продать свою библиотеку, если Франсуа не сумеет сократить свои расходы. Сократить расходы? Еще более? Но у него и так рваные подметки, его костюм совершенно обтрепался, он стыдится показаться в обществе! В конце концов он заболевает: необычно холодная и сырая парижская зима дала толчок развитию той болезни, от которой ему было суждено умереть. И все-таки два раза ему повезло. Удача заставила его несколько воспрянуть духом.

Императору нужны солдаты. В 1808 году начинается всеобщая мобилизация: в армию забирают всех, включая шестнадцатилетних. Шампольон приходит в ужас. Все его существо восстает против насилия, он, который свято соблюдает строжайшую дисциплину духа, не может без содрогания видеть марширующих гвардейцев с их глупейшей, нивелирующей дух дисциплиной. Разве еще Винкельман не страдал от угроз милитаризма? «Бывают дни, – в отчаянии пишет Франсуа брату, – когда я теряю голову!»

Брат помогает всегда, помогает он и на этот раз. Он пускает в ход свои связи, пишет заявления, рассылает бесчисленные письма, и в результате Шампольон получает возможность продолжать свою учебу, изучать мертвые языки – и это тогда, когда все вопросы времени разрешались силой оружия. Второе, что его занимает, нет, чем он увлекается, забывая даже порой об угрожающей ему мобилизации, это Розеттский камень. И странно: так же, как впоследствии Шлиман, в совершенстве изучивший чуть ли не все европейские языки, никак не мог решиться взяться за изучение древнегреческого, ибо чувствовал, что, начав, должен будет отдаться этому всей душой, так и Шампольон, возвращаясь все время мысленно к трехязычному камню, приближаясь к интересовавшему его предмету, словно по кругам

спирали, подходит к нему все медленнее, все нерешительнее, ибо ему все время кажется, что он еще не в состоянии решить эту проблему, что он еще не вооружен всеми знаниями своего времени.

Однако, получив неожиданно новую, изготовленную в Лондоне копию розеттской надписи, он более не в состоянии сдерживаться. Правда, он и на этот раз еще не приступает к непосредственной расшифровке, довольствуясь лишь сравнением розеттской надписи и одного папируса, однако он пробует – и это ему удается – «самостоятельно найти правильное значение для целого ряда знаков». «Представляю на твой суд мои первые шаги», – пишет он брату в письме от 30 августа 1808 года, и впервые за той скромностью, с которой он говорит о своем методе, чувствуется гордость юного первооткрывателя.

Но именно в этот момент, когда он сделал свой первый шаг, когда почувствовал себя на верном пути к успеху и славе, его, словно гром среди ясного неба, поразило одно сообщение. Между собой и целью он видел всегда только работу, труд, самоотверженные занятия – ко всему этому он был готов. И вдруг неожиданная весть сделала бессмысленным не только то, чем он занимался, во что верил, на что надеялся, но и то, чего он уже достиг: иероглифы расшифрованы!

Вспомним историю, относящуюся к совершенно иной области, к длившейся десятки лет борьбе за Южный полюс, – одной из самых волнующих страниц в летописи мировых открытий и исследований. Она чрезвычайно напоминает историю, которая приключилась с Шампольоном, и в своем глубоком драматизме дает великолепное представление о том, что должен был испытать этот человек в тот момент, когда узнал, что его опередили.

С невероятным трудом капитану Скотту вместе с двумя спутниками удастся подойти вплотную к полюсу. И вдруг, полумертвый от голода и усталости, но гордый тем, что он первый достиг полюса, Скотт замечает на белоснежном покрове, где, по его расчетам, еще не ступала нога человека, флаг! Флаг Амундсена!

Этот пример, как мы уже говорили, более драматичен, ибо за ним – белая смерть. Но разве юный Шампольон не испытал того же чувства, что и капитан Скотт? И вряд ли могло ему послужить утешением, что в век одновременных открытий то, что случилось с ним, происходило с десятками других и все они испытали то же самое, что испытал впоследствии Скотт в тот момент, когда увидел флаг Амундсена. Однако норвежский флаг был прочно водружен на полюсе и свидетельствовал о победе Амундсена, с расшифровкой же иероглифов дело обстояло несколько иначе.

О расшифровке Шампольон узнал на улице, по дороге в Коллеж де Франс. Эту новость рассказал ему приятель, даже не подозревая, чем Шампольон занимался на протяжении многих лет, о чем он мечтал, над чем работал дни и ночи напролет, голодая, переходя от надежд к отчаянию. Видя, что Шампольон пошатнулся и тяжело оперся рукой о его плечо, приятель испугался.

«Александр Ленуар! – говорил приятель. – Только что появился его труд, небольшая брошюра "Новое объяснение", – это полная расшифровка иероглифов. Ты можешь себе представить, что это означает?»

Кому он это говорит?!

«Ленуар?» – переспрашивает Шампольон. Он пожимает плечами. Внезапно в нем загорается искра надежды. Ведь он всего лишь вчера видел Ленуара. Он знаком с ним вот уже год. Ленуар крупный ученый, но звезд с неба не хватает. «Этого не может быть, – говорит он. – Никто об этом ничего не рассказывал. Даже сам Ленуар никогда не проронил об этом ни полслова». «Тебя это удивляет? – спрашивает приятель. – Кто же раньше времени распространяется о подобных открытиях?»

Шампольон внезапно выходит из оцепенения: «Кто книготорговец?». И вот он в лавке. Дрожащими руками отсчитывает он монеты на пыльный прилавок; распродано еще только

несколько экземпляров. Он спешит домой, бросается на продавленный диван и начинает читать...

А затем на кухне вдова Мекран внезапно оставляет свои горшки: из комнаты ее квартиранта раздаются странные звуки. Она прислушивается, затем бежит, открывает дверь в его комнату... На диване лежит Франсуа Шампольон, все его тело вздрагивает, изо рта вырываются какие-то нечленораздельные выкрики – он смеется, он, несомненно, смеется, весь сотрясаясь в приступе истерического хохота. В руке он держит книгу Лемуара. Расшифровка иероглифов? Нет! Здесь слишком рано водрузили флаг! Знаний Шампольона вполне достаточно, чтобы определить: все то, что здесь утверждает Лемуар, – чистейший вздор, голая выдумка, авантюристическое смешение фантазии и ложной учености.

И все же удар был ужасен. Этого он никогда не забудет. Пережитое им потрясение открыло ему глаза на то, до какой степени он внутренне сжился с идеей заставить заговорить мертвые изображения. Когда он в изнеможении засыпает, его преследуют кошмарные сны, ему слышатся голоса египтян. И сон делает совершенно очевидным то, что ускользало от него за превратностями нелегкой повседневности: он – одержимый, маньяк, околдованный иероглифами. Все его сны завершает успех. Этот успех представляется ему вполне достижимым. Но, беспокойно ворочаясь на постели, восемнадцатилетний ученый не подозревает, что прежде, чем он достигнет цели, пройдет еще добрый десяток лет. Он не ведает, что его подстерегает один удар судьбы за другим и что он, все помыслы которого заняты только иероглифами и страной фараонов, в один прекрасный день отправится в изгнание как государственный преступник.

Глава 11

Государственный преступник расшифровывает иероглифы

В двенадцать лет, изучая в оригинале Ветхий Завет, Шампольон в одном из своих сочинений высказался за республиканскую форму правления как единственно разумную. Выросший в атмосфере идей, подготовленных веком Просвещения и обязанных своим возникновением Великой революции, он страдал от нового деспотизма, прокравшегося в эдиктах и декретах и окончательно сбросившего маску с воцарением Наполеона.

В противоположность своему брату, который поддался обаянию Наполеона, Шампольон критически относился ко всем «успехам» и «достижениям» бонапартистского режима и даже в мыслях не следил за победным полетом французского орла.

Здесь не место изучать эволюцию политических взглядов и убеждений. Но следует ли умолчать о том, что некий египтолог, не будучи в силах противиться непреодолимому влечению к свободе, ворвался со знаменем в руках в цитадель Гренобля? Что именно Шампольон, который страдал от сурового режима Наполеона и терпеть не мог Бурбонов, своей собственной рукой сорвал знамя с лилиями, красовавшееся на самой вершине башни, и водрузил на его место трехцветное знамя – то самое знамя, которое в течение полутора десятилетий развевалось впереди маршировавших по всей Европе наполеоновских полков и в котором он в тот момент видел символ новой свободы?

Шампольон вновь возвратился в Гренобль. 10 июля 1809 года он был назначен профессором истории Гренобльского университета. Так в 19 лет он стал профессором там, где некогда сам учился; среди его студентов были и те, с кем он два года назад вместе сидел на школьной скамье. Следует ли удивляться тому, что к нему отнеслись недоброжелательно, что его опутала сеть интриг? Особенно усердствовали старые профессора, которые считали себя обойденными, обделенными, несправедливо обиженными.

А какие идеи развивал этот юный профессор истории! Он объявлял высшей целью исторического исследования стремление к правде, причем под правдой он подразумевал абсолютную правду, а не правду бонапартистскую или бурбонскую. Исходя из этого, он выступал за свободу науки, также понимая под этим абсолютную свободу, а не такую, границы которой определены указами и запретами и от которой требуют благоразумия во всех определяемых властями случаях. Он требовал осуществления тех принципов, которые были провозглашены в первые дни революции, а затем преданы, и год от года требовал этого все более решительно. Подобные убеждения должны были неминуемо привести его к конфликту с действительностью. Он никогда не изменяет своим идеям, но нередко его охватывает тоска. Тогда он пишет брату (у любого другого это выглядело бы как цитата из вольтеровского «Кандида», но он, ориенталист, вычитал это в священных книгах Востока): «Возделывай свое поле! В Авесте говорится: лучше сделать плодородными шесть четвериков засушливой земли, чем выиграть двадцать четыре сражения, – я с этим вполне согласен». И все более опутываемый сетью интриг, буквально больной от них, получая лишь четверть жалованья (этим он был обязан грязным махинациям своих коллег), он несколько позже напишет: «Судьба моя решена: бедный, как Диоген, я постараюсь приобрести бочку и мешок для одежды, что же касается вопроса пропитания, то здесь мне придется надеяться на всем известное великодушие афинян».

Он пишет сатиры, направленные против Наполеона. Но когда Наполеон наконец свергнут, а в Гренобль 19 апреля 1814 года входят союзники, он с горьким скептицизмом задает

себе вопрос: можно ли надеяться, что теперь, когда уничтожено господство деспота, настанет время господства идей? В этом он сомневается.

Однако его любовь к свободе народа, к свободе науки не может заглушить в нем страсти к изучению Египта. Как и прежде, он необычайно плодовит. Он занимается далекими от его научных интересов делами: составляет коптский словарь и одновременно пишет пьесы для гренобльских салонов, в том числе драму, посвященную Ифигении, сочиняет песенки политического характера, которые тут же подхватываются местными жителями, – для немецкого ученого это было бы совершенно невероятно, но во Франции, где эту традицию возводят к XII веку и связывают с именем Абеляра, это вполне обычно. В то же время он занимается и тем, что является главной задачей его жизни: он все более углубляется в изучение тайн Египта, он не может от него оторваться независимо от того, кричат ли на улицах «Vive l'Empereur!» или «Vive le Roi!». Он пишет бесчисленное множество статей, работает над книгами, помогает другим авторам, учит, мучается с нерадивыми студентами. Все это в конце концов отражается на его нервной системе, на его здоровье. В декабре 1816 года он пишет: «Мой коптский словарь с каждым днем становится все толще. Этого нельзя сказать о его составителе, с ним дело обстоит как раз наоборот». Он стонет, когда доходит до 1069-й страницы: труд его по-прежнему далек от завершения.

В это время наступают «Сто дней», которые заставляют Европу еще раз претерпеть натиск Наполеона, которые разрушают то, что с таким трудом было создано, которые превращают преследуемых в преследователей, властителей в подданных, короля в беглеца и даже Шампольона вынуждают покинуть свой кабинет. Наполеон возвращается! И в поистине опереточном crescendo меняется с каждой пройденной им милей тон газет: «Чудовище вырвалось на свободу!», «Оборотень в Каннах», «Тиран – в Лионе», «Узурпатор в шестидесяти часах от столицы», «Бонапарт приближается форсированным маршем», «Наполеон завтра будет у наших стен», «Его Величество в Фонтенбло».

7 марта Наполеон подходит на своем пути в столицу к Греноблю. Он вынимает табакерку и стучит ею в городские ворота. Ночь, его освещают факелы: настоящая сцена из спектакля, но только всемирно-исторического значения. Долгую страшную минуту стоит он под наведенными на него пушками, около которых совещаются канониры. Потом раздаются возгласы: «Да здравствует Наполеон!» – и «этот авантюрист, который покинет город императором», вступает в Гренобль, ибо Гренобль – это сердце Дофинэ, важнейшая из оперативных баз, которые нужно было занять. Фижак, брат Шампольона, давний почитатель императора, теперь становится его приверженцем.

Наполеону нужен личный секретарь. Мэр города представляет ему Фижака и умышленно искажает его фамилию – «Шамполеон». «Какое хорошее предзнаменование, – восклицает император, – он носит половину моей фамилии!» Шампольон тоже здесь. Наполеон расспрашивает его о работе, узнает о коптской грамматике, о словаре. Шампольон холоден (он с двенадцати лет имеет дело с властителями, гораздо ближе стоящими к богам, чем Наполеон), император же приходит в восторг от юного ученого, долго с ним беседует, обещает ему в знак монаршей милости напечатать его книги в Париже. Не довольствуясь этим, Наполеон на другой день посещает его в библиотеке, вновь возвращается к разговору о его занятиях языками – и все это в те дни и часы, когда он находится на пути к отвоеванию своей мировой империи. Два завоевателя Египта стоят здесь друг против друга. Один, включивший страну фараонов в свои геополитические планы, желавший вновь возродить ее (тысячи шлюзов хотел он тогда построить, чтобы раз и навсегда обеспечить рентабельность земледелия; теперь, услышав более подробные сведения о коптском языке, он вновь загорается и тотчас решает сделать коптский язык новым всенародным языком Египта). И другой – он еще ни разу не побывал в Египте, но мысленно видел этот исчезнувший древний мир, который ему было суждено завоевать силой своего интеллекта и знаний, тысячи раз.

Однако дни Наполеона сочтены. Его вторичное поражение столь же быстро, как и его вторичный успех. Эльба была для него убежищем, остров Святой Елены станет местом его смерти.

И снова в Париж возвращаются Бурбоны. Они чувствуют себя не слишком уверенно, они не очень сильны и поэтому не собираются мстить. И все-таки (могло ли быть иначе?) приговоры выносятся сотнями, «наказания сыпятся с такой же щедростью, как некогда сыпалась на евреев манна небесная»; в число преследуемых попадает и Фижак – вольно же ему было сопровождать Наполеона в Париж! И стоит ли удивляться тому, что при быстром разбирательстве политических дел, при наличии большого числа недоброжелателей и завистников, которых юный профессор нажил себе в Гренобле, между ним и братом не делают различия – ведь даже в научных делах их не всегда отличали друг от друга. Кстати, это небезосновательно, ибо и младший Шампольон в последние часы «Ста дней», в то самое время, когда он безуспешно пытался раздобыть тысячу франков для покупки очередного египетского папируса, принял участие в организации так называемого «Дельфийского союза», деятельность которого теперь, во время реставрации, кажется весьма предосудительной.

Когда роялисты приблизились к Греноблю, Шампольон встретил их на бастионах, призывая к сопротивлению, не желая разбираться в том, где, собственно, находится большая свобода. Но что происходит дальше? В тот самый момент, когда генерал Латур приступает к бомбардировке внутренней части города, когда плодам труда Шампольона начинает грозить нешуточная опасность, он покидает бастион, оставляя политику и войну, и мчится в библиотеку. Здесь, на втором этаже, он проводит все часы бомбардировки, таская воду и песок, один во всем здании, рискуя жизнью ради своих папирусов.

Вот тогда-то, уволенный из университета, сосланный как государственный преступник, Шампольон приступает к окончательной расшифровке иероглифов. Изгнание длится полтора года. За ним следует дальнейшая неустанная работа в Париже и Гренобле. Шампольону угрожает новый процесс, вновь по обвинению в государственной измене. В июле 1821 года он покидает город, в котором прошел путь от школьника до академика. А годом позже выходит в свет его труд «Письмо к г-ну Дасье относительно алфавита фонетических иероглифов...» («Lettre á M. Dacier... Relative à l'alphabet des hieroglyphes phonétiques...») – книга, в которой изложены основы дешифровки иероглифов; она сделала его имя известным всем, кто обращал свои взоры к стране пирамид и храмов, пытаясь разгадать ее тайны.

Иероглифы были известны всему миру, сообщения о них содержатся у целого ряда античных авторов, их не раз пытались толковать во времена западноевропейского Средневековья, а после египетского похода Наполеона они в бесчисленных копиях попали в кабинеты ученых. И, как это ни парадоксально звучит, в том, что иероглифы никак не удавалось расшифровать, был прежде всего повинен один человек и ошибочные рассуждения этого человека, а не отсутствие способностей или недостаток знаний у тех, кто брался за расшифровку. Геродот, Страбон, Диодор Сицилийский, посетившие Египет, говорили об иероглифах как о непонятных рисунках-письменах. И лишь Горapolлон составил в IV веке н. э. подробное описание «значений» иероглифов (указания, содержащиеся в более ранних работах – Климента Александрийского и Порфирия, – неясны). Вполне понятно, что за отсутствием каких-либо иных материалов труд Горapolлона был положен в основу всех последующих исследований. Горapolлон считал, что иероглифы – это рисуночное письмо, и с его легкой руки все интерпретаторы на протяжении столетий старательно искали символический смысл этих изображений. Профаны благодаря этому могли дать волю своей фантазии, но ученые приходили в отчаяние.

Когда Шампольон расшифровал иероглифы, стало ясно, как много верного содержат рассуждения Горapolлона; стала ясна эволюция иероглифов, исходным пунктом которой была простая символика: волнистая линия обозначала воду, очертания дома – дом, знамя –

бога. Однако эта же символика, применяемая последователями Горapolлона к более поздним надписям, приводила на ложный путь²³. Нередко эти пути были и авантюристическими. Так, иезуит Афанасий Кирхер, человек весьма изобретательный (между прочим, он сконструировал волшебный фонарь), опубликовал в Риме в 1653 – 1654 годах четыре тома переводов иероглифов; ни один из них не был верным, ни один не имел ничего хотя бы скольнибудь общего с оригиналом. Группу иероглифов, находящуюся на одном из римскихobelisks и передающую греческий титул императора Домициана «автократор» («самодержец»), он, например, перевел следующим образом: «Осирис – создатель плодородия и всей растительности, производительную способность которого низводит с неба в свое царство святой Мофта!» И все-таки, в противоположность доброй дюжине других ученых, Кирхер признавал значение коптского языка – этой позднейшей формы египетского языка. Сто лет спустя де Гинь перед «Французской академией надписей» китайцев объявил египетскими колонистами, опираясь в своем утверждении на сравнительный анализ иероглифов. И все же (это «и все же» сопутствует буквально каждому ученому, ведь каждый из них находил хотя бы один правильный след) он, во всяком случае, правильно прочел имя египетского царя Менеса. Один из его противников мгновенно обратил его в «Мантуф», что послужило поводом к выпадку Вольтера – самого ядовитого глоссатора своего времени – против этимологов, «для которых гласные не в счет, а согласные не имеют значения». В то же время английские ученые утверждали, в противоположность де Гиню, что египтяне – выходцы из Китая.

Можно было предположить, что трехязычный камень из Розетты положит конец всем подобным домыслам. Случилось, однако, обратное. Путь к решению казался теперь таким ясным, что даже профаны отважились им воспользоваться. Некий аноним из Дрездена «восстановил» на основании лишь одного фрагмента иероглифической надписи из Розетты весь греческий текст. Некий араб Ахмед ибн абу Бекр «открыл» один текст, который обычно весьма вдумчивый и серьезный ориенталист Гаммер-Пургшталь даже поспешил перевести. Один безымянный «исследователь» из Парижа увидел в надписи на храме в Дендера сотый псалом, а в Женеве появился перевод текста так называемого «obeliska Памфилия»; в нем, оказывается, содержалось сообщение «о победе добрых над злыми, составленное за четыре тысячи лет до Рождества Христова».

Фантазия была через край. Граф Пален, который отличался помимо фантазии беспредельным невежеством и был глуп как пробка, утверждал, что суть розеттской надписи стала ему ясной с первого взгляда. Опираясь на Горapolлона, на пифагорейские доктрины, на каббалу, он за одну ночь «расшифровал» все тексты, восемь дней спустя передал свой «труд» на суд публики и, по собственному утверждению, именно благодаря быстроте избежал «тех ошибок в систематизации, которые являются следствием долгих раздумий».

Но Шампольону, который продолжал свою работу среди этого вихря, этого фейерверка дешифровок, классифицируя, сравнивая, проверяя, шаг за шагом приближаясь к намеченной цели, суждено было пережить еще одну новость: некий аббат Тандо де Сен Никола опубликовал брошюру, в которой содержатся совершенно точные доказательства того, что иероглифы – это вообще не письменность, а всего лишь один из элементов декоративного искусства древних. Отстаивая свою точку зрения, Шампольон в одном из своих писем еще в 1815

²³ Египетское иероглифическое письмо было в своей основе фонетическим; иероглифы имели значение согласных звуков. Всего иероглифов около 700; из них 24 знака – одногласные, т. е. алфавитные, кроме них есть иероглифы двух- и трехбуквенные. В конце слова ставились особые знаки-определители, которые имели смысловое значение, а не фонетическое; они не читались, а служили для определения значения слова. Так, после иероглифов, составляющих слова со значением «ходить», «бегать», «передвигаться», ставился иероглиф, изображающий ноги, а со значением «плыть» ставился иероглиф, изображающий корабль. В своей таблице иероглифов Горapolлон правильно называл значение отдельных знаков, но, считая их иероглифическими, неправильно их объяснял. Так, например, он считал, что иероглиф «гусь» передает понятие «сын», так как у гусей очень развита сыновняя любовь, и т. п. Исходя из толкования Горapolлона, предшественники Шампольона и считали, что иероглифы имеют символическое значение, связанное с их изображениями.

году писал о Гореполлоне: «Этот труд называется "Иероглифика", но в нем речь идет вовсе не о том, что мы подразумеваем под понятием "иероглифы", а об интерпретации, истолковании священных символических изображений, то есть о египетских символах, которые не имеют ничего общего с иероглифами. Это утверждение идет вразрез с общепринятым мнением, но доказательство правильности моей точки зрения находится на египетских надгробных памятниках. На сценах-эмблемах видны те священные изображения, о которых говорит Гореполлон: змея, вонзившая жало в собственный хвост, ястреб в описанной Гореполлоном позе, дождь, человек без головы, голубь с лавровым листом и т. д., но всего этого нет в настоящих иероглифах».

В те годы в иероглифах видели каббалистические, астрологические и гностические тайные учения, сельскохозяйственные, торговые и административно-технические указания для практической жизни; из иероглифических надписей «вычитывали» целые отрывки из Библии и даже из литературы времен, предшествовавших потоку, халдейские, еврейские и даже китайские тексты, «как будто египтяне, – как писал Шампольон, – не имели собственного языка для выражения своих мыслей». Все эти попытки истолковать иероглифы основывались в той или иной степени на Гореполлоне. Существовал только один путь, который мог привести к дешифровке: отказаться от Гореполлона. Шампольон избрал именно этот путь.

Великие открытия духа очень трудно точно зафиксировать во времени. Они являются результатом бесчисленных предварительных размышлений, долголетней тренировки мысли в разрешении одной определенной проблемы, точкой пересечения известного и неизвестного, целенаправленного внимания и фантазии. И лишь редко правильное решение приходит к человеку мгновенно, что называется, молниеносно.

Великие открытия несколько теряют в своем величии, когда обращаешься к их предыстории. Поскольку верный путь, который привел к открытию, известен, ложные пути представляются наивными, неверные представления – ослеплением, сама проблема – простой. Сегодня трудно себе представить, что означали для того времени открытия Шампольона, противопоставившего мнению Гореполлона, на которого молился весь ученый мир, свое собственное мнение. Не следует забывать, что ученые и публика цеплялись за Гореполлона не потому, что они видели в нем столь же непоколебимый авторитет, какой их средневековые коллеги видели в Аристотеле или позднейшие теологи – в отцах Церкви, а просто потому, что даже самые убежденные скептики искренне верили, что иероглифы – это письмо-рисунок, и не видели, не могли себе представить, что могут быть какие-либо иные варианты их толкований. К несчастью для науки, авторитетное высказывание здесь соответствовало (точнее говоря, казалось, что оно соответствует) тому мнению, которое мог составить себе об иероглифах каждый. В лице Гореполлона говорил не просто человек, который стоял на полтора тысячелетия ближе к иероглифам, – в истинности того, что он говорил, мог убедиться каждый: здесь были рисунки, рисунки и рисунки.

И лишь в тот момент (мы не можем определить, в какой именно), когда Шампольон решил, что иероглифические рисунки – это «буквы» (точнее говоря, «обозначения слогов»; его собственное раннее определение говорит, что они, «не будучи строго алфавитными, тем не менее слоговые»), наступил поворот: в этот момент Шампольон порвал с Гореполлоном, и этот разрыв, этот новый путь должен был привести к дешифровке. Можно ли после всего сказанного говорить о «наитии», о том, что Шампольона «вдруг осенило», о «минуте вдохновения»? Когда эта идея впервые пришла Шампольону в голову, он отбросил ее. Когда он однажды пришел к выводу, что знак, изображающий лежащую змею, соответствует звуку *f*, он отказался от этого утверждения как ложного. Когда другие – скандинавские ученые Созга и Окерблад, француз де Саси и прежде всего англичанин Томас Юнг – заключили, что демотический текст розеттской надписи – это «буквенный текст», им удалось разрешить лишь некоторые частности; дальше они не пошли: некоторые из них

отказались от дальнейших исследований, другие принялись опровергать свои собственные утверждения, а де Саси объявил о своей полной капитуляции перед иероглифическими текстами, «такими же недостижимыми, как Ковчег Завета Господня». И даже Томас Юнг, который добился выдающихся результатов при дешифровке демотического текста именно благодаря тому, что он читал его «фонетически», противореча самому себе, при дешифровке имени Птолемея вновь произвольно разложил знаки на буквы, слоги и двойные слоги. Здесь ясно видно различие между двумя методами и двумя результатами. Юнг, естествоиспытатель, человек, несомненно, гениальный, но не получивший специального филологического образования, работал по трафарету, методом сравнения, методом остроумной интерполяции и все-таки расшифровал несколько слов; великолепным доказательством его интуиции является тот факт, что, как впоследствии подтвердил сам Шампольон, из интерпретированной им 221 группы символов 76 были расшифрованы правильно. Шампольон же, владевший доброй дюжиной древних языков и благодаря знанию коптского более чем кто-либо иной приблизившийся к пониманию самого духа языка древних египтян, не занимался отгадыванием отдельных слов или букв, но разобрался в самой системе. Он не ограничился одной лишь интерпретацией: он стремился сделать эти письмена понятными и для изучения и для чтения. И в тот момент, когда ему в общих чертах стала ясна система, он смог действительно плодотворно приступить к разработке той идеи, проверке той догадки, правильность которой становилась все более очевидной: дешифровка должна начинаться с имени царствующей особы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.